

Владимир БАГРАМОВ

ЖУРАВЛЁВКА

Роман

*Опубликовано в журнале:
«Звезда Востока» 2011, №1,2*

*Прабабушке Матрене Максимовне
Баграмовой, светлому истоку
хлопотливо-шалюного рода нашего,
посвящаю.
Автор*

ЧАСТЬ I

Розовая накипь умирающего заката дымилась в его волосах.

По столу тянулись тени от лампы. Чугунная змея-пепельница дразнила раздвоенным языком, проглатывая окурки. Статуэтка Дон-Кихота на подоконнике выдергивала из ножен заржавленную шпагу, а глаз лимона мигал из чашки, и серебряная ложечка трамвая вызванивала поздний час.

Под окнами ходил ноябрь, с грохотом пинал водостоки и сметал вороха листьев колючей ветлой ветра.

– Что ты знаешь о войне, мальчик?

Из-за стекол очков на меня глянули жерла печей Освенцима. Коричневая шея, орлиный нос, большой кадык под задраным подбородком...

Густая кровь медленно пульсировала в венах, набухшие узлы то наливались тяжелым, коричневым цветом, то голубели под истонченной от времени кожей.

– Сердце злого каменеет в ненависти, сердце доброго расплзается по швам совести. Примерно так говорил мой дед, старый еврей, который всю жизнь шил костюмы кому угодно, но лег в гроб в

соседских шароварах. Единственные брюки унесли вместе с веревкой, на которой они сушились. Ты знаешь о войне по книгам и фильмам, а что делать мне?

Фотографии потрескивали, свивались трубками. Учитель передвигал их по столу сухой, как птичья лапка, рукой.

– Брат, ему было бы шестьдесят восемь, играл за шахматную сборную Киева. Его последняя партия была с немецким переводчиком, немец «зевнул» коня – Рувима отправили в лагерь. Над его пеплом горит огонь и ходят люди. Я же теперь не могу видеть струящийся дым из трубы, даже если он исходит от фабрики детских игрушек.

Тонкогубый юноша со лбом Сократа и плечами легочника копал яму для саженца. С лопаты вечной стружкой сыпалась земля.

– Ночами я остаюсь наедине с ними, – он кивнул на фотографии. – Жену и дочь убило фугасом, я не знаю, где их могила. Сестра лежит в Бабьем Яре, по ночам я слышу ее крик. Этот век старше меня на два месяца, дай Бог успеть увидеть, как люди будут хоронить атомную бомбу! Ты улыбаешься про то, что я сошел с ума? Меня не станет, и ты вспомнишь старого учителя. В моем возрасте думают о душе, но в Бога я не верю. Если Он есть, ему нет смысла заботиться о людях, у него впереди вечность, нам в ней отказано. В следующий раз расскажу тебе о собаке с разноцветными глазами. Она ела яблоки, а мой дед сшил ей жилетку и штаны.

Учитель тронул сухими пальцами фигурку Дон Кихота на подоконнике, идальго качнулся, тихо звякнула его потемневшая шпага.

С фотографии улыбался портной, дед Учителя, ушедший из жизни в соседских шароварах. Рядом испуганно щурилась бабка, ей удалось пережить мужа на пять погромов. Тисненная виньетка с потертой надписью внизу картонки: «Макс Циммерман – фото художественное и гражданское».

– Ты собираешься писать, но никто не знает, как это делается. Сердце само находит стиль и форму. Погоди, я проглочу лекарство.

Капли прыгали в рюмку – Учителя мучила астма.

Для этого человека на всей огромной земле не хватало воздуха. Приходилось занимать его в аптеке. Вот и сейчас в углу дивана черной лягушкой растопырилась кислородная подушка.

Ноябрь устал сгребать листья, встал под окнами, тихо барабанил в переплеты худыми пальцами дождя.

Я приехал через год. Два месяца назад мне сообщили, что Учитель умер.

Гулкая лестница стократно отзывалась на каждый мой шаг, серые тени скользили вдогонку.

На обшарпанной двери осталась табличка – медная планка на двух винтах: «Я.А. Перельман – 5 звонков». Свежая царапина пересекала наискось планку, кто-то пытался ее снять, но старые винты были утоплены в дубовую дверь на века. Под планкой зеленью меди матово выступала вертушка дореволюционного звонка.

Можно теперь поворачивать вертушку до тех пор, пока голос дребезжащего коммунального вестника не долетит до самых дальних звезд и вернется оттуда на землю гулким, печальным эхом...

Долго и пусто смотрел я на старую дверь.

Потом шел сквозь залитый солнцем и снежной белизной день до тех пор, пока не унялась, не растаяла под горлом зыбкая дрожь, сводящая каменно скулы у сорокалетних мужчин, не умеющих плакать.

Земля, чья тяжелая плоть призвана рожать, впитывала в себя тела детей своих – недолюбивших и недопевших, великих и незаметных, гениальных и юродивых, отсчитывающих на ней последние метры и ковьяющих первые шаги.

Люди мало говорили.

Кривые тропы военного лихолетья выводили их на прямую поступка. Он стал средством существования и поставил болтовню вне закона. Никакими парадными фразами нельзя было прикрыть суть человеческую, спрятать ее от пытливого глаза.

Страна тянула лямку величайшей из войн на земле. Война входила в затяжную, самую жестокую фазу, когда на смену жадной ярости нападающих и боли отчаяния защищающихся, приходит обоюдная, черная, как клубящийся омут, не знающая покоя и просвета – ненависть.

Лежали втроем, метрах в ста от железнодорожного полотна, когда из-за поворота вылетела мотодрезина.

Немцы надсадно и весело орали песню. Здоровый фриц на краю дрезины, свесив ноги, голосил громче всех и размахивал в такт руками, автомат на его груди выглядел игрушечным. Вот из этого автомата и резанул он по заснеженным кустам, потом по кромке недалекого леса.

Посыпались сбитые ветки, брызнул снег.

Капитан по-детски икнул, неистово застучал ногами. Лежавший рядом Пенкин, что есть силы, прижал капитанские ноги, одновременно наползая плечами ему на спину. Капитан через несколько секунд затих. Дрезина с орущими немцами прогрохотала и скрылась, они остались лежать, глядя с двух сторон на неподвижное тело.

– Елы-палы! – Выдохнул потрясенно Пенкин, утирая лицо рукавом маскхалата, смаргивая растаявший на ресницах снег. Туманков на локтях передвинулся к убитому, приподнял его голову, присвистнул:

– В лоб! Что ж мы комдиву скажем?

Долго молчали, обдумывая случившееся. Туманков жевал веточку, искоса поглядывая на Пенкина, тот, потирая варежкой щеку, смотрел прямо перед собой в снег. Наконец, повернулся к Туманкову.

– Тридцать кэмэ еще, не допрем, в нем пудов шесть будет. А с телом линию фронта не перейти, положат, как пить дать! У них там каждый метр на мушке.

– Вот что, – решительно пробасил Туманков, – в лесок его надо. Тащить бесполезно, факт, угробимся. Замаскируем. Короче, не найдут, а потом...

Что будет «потом» Туманков не знал. В ближайшее время наступления не предвиделось, да и зыбкое оно было на войне, это «потом». Вот уходить надо было, как можно быстрее, слишком нашумели на переезде, а до него всего пять километров.

– Место больно хорошее! – оглядывая кусты, вздохнул Пенкин. – Лежали бы себе до вечера, а там раз – и в дамки!

– Как он часового снял на переезде а? – Туманков покрутил головой. – Я такого не видал! Как кошка по снегу крутнулся, я нарочно уши выставил, думал, услышу. Какое там, тень, и та громче пройдет. Слышь, а чего на складе долбануло, никак бомбы авиационные?

Пенкин кивнул, цокнув языком. Оба замерли, смотрели – вдоль полотна шли трое, двое маленьких, один высоченный. Верзила что-то ел на ходу, отрывая, как волк, одним движением от зажатого в руке куска.

– Глянь! – шепнул Пенкин. – Никак этот стрельнул?

– Он, – отозвался тоже шепотом Туманков. – По рыжим волосам откуда хочешь срисовать можно.

– Коль, – Пенкин облизал пересохшие губы, – мы капитана в леске схороним, а потом к этим завернем. Будка у них там, а это смена. Скоро

дрезина назад шмыгнет, эти останутся. Их не более семи будет, пока эту гадину не положу, мне покою не будет!

– Нашумим.

– Мы тихо! Они спят, как мертвые, у них тут войск, как клопов, никого не ждут. И стрельнем пару раз, так со станции не услышать, главное – прозвонить не дать, пока очухаются, мы раз – и в дамки!

– Давай, только потом ногами перебирать и перебирать – не дай Бог! По следам пойдут, у них тоже скороходы на лыжах имеются. Дорогу надо пересечь, пока суд да дело, а то наперехват грузовиками сиганут, мотоциклеты пустят! Лесом мы им нос натянем, как пить дать.

– Рванем, Колян, рванем, только треск пойдет!

– Одного треснули, хватит. Целый склад своротил, а с дурной пули сгинул.

Прогрохотала дрезина с немцами, скрылась за поворотом. Через час-полтора прошли и эти трое. Верзила шел сзади, ссутулившись, засунув руки в карманы шинели, что-то зло и громко говорил впереди идущим.

Пенкин не сводил с немца глаз, даже постанывал от избытка ненависти и жажды мести. Туманков задумчиво жевал веточку.

Сумерки сгущались быстро. Мороз давал о себе знать, явно крепчая.

Могилу продолбили ножами неглубоко, окоченелые руки не чувствовали ребристых рукояток. Туманков обливался потом, матерился сквозь зубы, то и дело бросая нож и с остервенением растирая ладони.

Пенкин долбил молча, часто сплевывал длинной струйкой через щербину зубов и ежился, ощущение было омерзительное – лицо и руки схватывало холодом, а спину и живот под маскхалатом, телогрейкой и свитером заливали струйки противного, липкого пота.

Закрыть глаза капитану они не смогли. Тело окоченело, стали укладывать его в неудобную яму, с края упала горсть снега, было странно смотреть, как она залепила открытый шарик глаза – не тает, не смаргивается.

За капитана невольно поморгал Туманков, а Пенкин нагнулся и сдул снег. Снежинки от дыхания мгновенно растаяли, глаз увлажнился, из уголка скользнула светлая при лунном свете, хрустальная капля.

Пенкин внимательно осмотрел могилу, отошел в сторону, долго озирался. Высмотрев, нырнул в перелесок. Вернулся с большой уродливой корягой, осторожно уложил на бугор, стараясь не сбить

налипший на нее снег. Туманков достал из-за пазухи флягу, поболтал, прислушиваясь, протянул Пенкину.

– Помянем, не знаю, как звать. За Ивана Армейского, пусть ему земля пухом будет.

– А может, еще как?

– Дурак, – покачал головой Туманков. – Сам подумай, нос картошкой, волос ржаной, значит, кто? Русак. Откуда прислали? Из армейской разведки, там у них все секретные, раз так, значит, и фамилия его для нас – Армейский. Иван Армейский!

– Давай, – согласился Пенкин. – За Ивана Армейского. Вот судьба, сколько он поездов на воздух поднял, а от глупой пули сгинул. Мужик серьезный был.

Пенкин глотнул спирту, бросил в рот снег, довольно сощурился, примерился еще, но Туманков флягу отобрал, сунул за пазуху.

– Ты будешь пить? – Проводил глазами флягу Пенкин.

– Язва. На гражданке не выдавала себя, изредка прихватит, так-то справлялся. Все, вставай, рысью по краю дороги, к будке, там видно будет. Я часового сниму, а ты гранатой!

– Нет! – резко мотнул головой Пенкин. – Сам сделаю, я их в нож возьму.

– Лютовать стал, смотри, пуля, она злых ухарей не любит.

Лежали на вспухших корнях толстой ели, метрах в пятидесяти от будки. Часовой, коротышка в мохнатом тулупе, расхаживал туда-сюда, скрипел валенками, наконец, притих, прислонившись к столбу крыльца.

Пенкин поглядывал на луну, на черное, наплывающее облако, ждал. Крупные, морозные звезды светили ярко и бессмысленно. Он дернул плечом и замер, ощутив на спине руку, повернул голову – Туманков показал гранату, Пенкин зло оскалился, отрицательно помотал головой, рука его скользнула к поясу, блеснуло лезвие финки.

Туманков приложил руку ко рту, несколько раз сложил пальцы, как клюв, мол, а вскрикнет этот, то что? Пенкин оттопырил большой палец, будь спокоен. Туманков перехватил автомат удобнее, положил две гранаты под правую руку, кивнул.

Пенкин, не спуская глаз с часового, подтянул ноги к груди, стал развязывать тесемки на штанах. Бесшумно разулся, оставшись в шерстяных носках, пошевелил пальцами ног – терпимо. Оглянувшись

на Туманкова, кивнул и встал, прильнув к стволу ели, потом пригнулся, изготавливаясь к броску.

Тулуп большой, немец маленький, и Пенкин решил не рисковать. Кто его знает, что у него там под овчиной, пихают в карманы всякую дребедень, попадешь ножом в портсигар или гармошку губную, шум будет!

Между елью, где стоял Пенкин, и часовым – небольшой, присыпанный снегом куст. От него до немца шагов пять. Часовой стоял спиной. Туманков прицелился в бесформенную фигуру, четко выделяющуюся на светлом проеме стены будки. Облизал пересохшие губы.

Огромной тенью, жутким ночным нетопырем скользнул Пенкин к кусту. Не скрипнул снег, не дрогнула ни одна ветка. Туманков усмехнулся и довольно поджал губы, только что был человек – и нет его! Часовой не шевельнулся.

Заслонкой легла на лицо дремлющего немца широкая ладонь Пенкина. Блеснуло лезвие... Всплеснул часовой руками, выгнулся телом и осел, разведчик, стараясь не звякнуть, перехватил немецкий автомат одной рукой, другой немца на снег опустил.

Тишина. Туманков уже рядом стоит.

Едва слышно дверь будки скрипнула. Воздух в ней на сопенье, храпе и перегаре настоян, овчиной кислой тянет, еще одеколоном сладковатого, нерусского разлива.

Пенкин внутри скользнул, Туманков хотел следом, но он его легко в грудь толкнул – стой, где стоишь, я сам!

Луна через промерзшие окна протискивается, красит лица спящих фиолетовыми пятнами, бликующей сыпью ледяных световых подтеков.

Пенкин остро огляделся – трое на нарах, один на лавке, с часовым – пятеро! Спящих бить нельзя, эту заповедь в разведке Пенкин хорошо усвоил. Спящий человек кричит в муке смертной, может вскочить, а если разбудить, тогда...

Потрепал крайнего немца на нарах за плечо. Перегаром-то, мать честная! Когда поднял немец стриженую под ноль голову, Пенкин руку ему на лицо кинул. Только всхлипнул еле слышно.

На третьего немца навалиться всем телом пришлось, то ли попал неудачно, то ли живуч оказался, но вздумал биться, головой вертеть. Ладно, затих и этот. Тогда Пенкин, не таясь, по будке прошелся, четыре

автомата через плечо перекинул, на лавку, где рыжий верзила храпел, с усмешкой покосился, к двери подошел, выглянул.

Туманков на ступени крыльца стоит, давно все понял по жуткой тишине в будке.

Пенкин автоматы на снег кинул.

– Все, что ли?

– Не, – Пенкин откашлялся, – рыжий гаденыш, тот, который капитана стрельнул, спит, пойдем будить.

Туманков пихнул верзилу в бок, немец замычал и на спину перевалился, ногтями подбородок скребет. Пенкин на его сонное чмокание нехорошо засмеялся. Туманков еще раз пихнул, сильнее, взмахнул рыжий немец руками, открыл глаза. Некоторое время тарачил их бессмысленно на Туманкова, потом перевел взгляд на Пенкина, хрюкнул тонко и сел.

– Боров, – Пенкин сглотнул тошноту, – нажрал вывеску-то.

– Наловчился по кустам стрекотать, кузнечик. Едет на дрезине и стрекочет.

Туманков разглядывал немца.

А рыжий верзила ничего не понимал, ему казалось, что сейчас он закроет глаза, потом откроет, и ничего не будет! Эти двое, что похожи на страшные ночные привидения, растворятся в мутной мгле, исчезнут. И останется он досыпать на жесткой лавке в забытой богом собачьей будке, у ненавистного железнодорожного полотна.

Рыжий засопел, напрягая сонные мозги, неуклюже повернулся к темному углу, пытаясь понять, почему на нарах так тихо, где еще трое из его взвода? И понял вдруг. Оторопело перевел взгляд на этих двоих, что молча стояли перед ним в белых масках, с напряженными лицами, потом свалился на пол.

Его рвало, прямо выворачивало наизнанку, жадно хватал воздух руками, корчился и давился, захлебываясь животным ужасом.

– Идти надо, Жорка, – задумчиво сказал Туманков.

Пенкин скрипнул зубами и выбежал из будки. Сзади рокотнул ППШ.

– Как ты? – спросил Туманков, когда они приостановились передохнуть у крутого спуска, прежде чем скользнуть на лед реки.

– Вроде жар, кости ломит, черт.

– Таблеток бы... Или спирту с банькой! Ладно, терпи, идти надо.

Лежали в просторной свежей воронке от тяжелого снаряда, смотрели. С бугра было хорошо видно, как из немецких окопов

выгибались дугой морзянки трассеров, исчезали на той стороне поля. Оттуда отвечала злая скороговорка «максима».

Рассвет полыхал, и если бы не густые облака, совсем беда, не прошли бы они ни рощицу, где урчали немецкие танки, ни балку... Теперь приходилось ждать следующей ночи.

Туманков жевал сухарь, Пенкин маялся. У него слезились глаза, губы обметало. Сделав из снега катышек, Пенкин в рот его наладил, но Туманков руку перехватил, катышек выбил. На злой взгляд друга Туманков носом шмыгнул, а Пенкин опять за снег.

– Нельзя, Пенкин, холодное кушать, – буркнул Туманков, – температура у тебя. Лицо огненное и глаз плохой.

– Я тебе баба что ли, в глаза смотреть? Хватит хрумкать, кролик!

– Болеешь, – кивнул Туманков, разгрызая очередной сухарь. – Покемарь, нам здесь долго загорать придется. Я тоже раз консервов итальянских хапнул, так скрутило – спасу нет! В санчасть к фельдшеру, а он, зверь, масло сует! стакан набузовал и пей, говорит. Я бежать, тут начальник дивизии вырубивает, что да как? Я и хватил стакан с маслом паскудным, из меня, как из полкового миномета, три дня шмаляло, ребята со свету сжили. Спасибо, старшина дубовой коры заварил, в кружку пороха кинул, и выпить заставил. После того дней пять наоборот получалось.

– Колян, надо к балочке, где спираль, видишь? Потом к кустам, оттуда к палке с тряпкой.

– Мин там понатыкано, как блох, – задумчиво Туманков отвечает.

Пенкин с хрипом откашлялся под рокот немецкого крупнокалиберного пулемета. Едва отдышался, к стене воронки прислонился, горло трет через маскхалат.

– Я никогда и не болел, понял? Под Смоленском плечо продырявили. Полковой врач, мужик стоящий был, говорил, «заштопаю, не паникуй, как на собаке заживет!» Рана чистая, заштопал, только рубец сизый, а так ничего. Врача снарядом разнесло, а я его часто вспоминаю.

– Помолчи, когда говоришь, у тебя в груди хлюпает. Может, воспаление легких. Я мальцом был, под лед угодил, батя говорил – месяц пластом лежал. Козьим молоком отходили, мы тогда под Красноярском жили.

– Как в Москву попал?

– На выставку приехал, с колхозными пьянчугами, там Тосю встретил. Как раз в тридцать шестом. Двойняшкам моим по шесть лет, Сонюшка кроха еще.

Пенкин засмеялся, покрутил головой.

– Наклепал, разведчик, а баба твоя, – с Москвы?

Туманков усмехнулся, хотел что-то сказать, но раздумал. Молчал долго, наконец, повернулся:

– «Баба» – это про других женщин, Пенкин. У Тоси мать умерла давно, когда мы встретились, одна осталась. У фонтана познакомились, где Большой театр. Откуда ты знаешь про театры-то, слаще морковки в жизни и не видел ничего. Отец мой приехал в Москву, и я его с Тосей познакомил. Он говорит, вот такие, как она, на всю жизнь, кончай кобелировать, куда скажет, с головой прыгай. Мы в Москве и остались.

– Ты ее старше, Колян?

– На семь годов.

– Красивая?

– Нет таких. Глазищи – век смотреть, не спать, не пить, не есть – смотреть и все! Детей родила – на прогулку сбегала, все с улыбкой и прибаутками. Мой старик угрюм, а с ней оттаивает. Ладно, кончай спрашивать, ты подремли, глаза красные, как у кролика. Схоронили нас, как думаешь?

– Могут, – равнодушно откликнулся Пенкин. – Мы третьи, группа Лихарева угробилась на проходе, Егора Капустина с майором штабным минометами накрыли, чего ж ты хочешь? Нас с довольствия, поди, списали, мы вот – они, а старшина хрен с маслом!

– Хватит трепаться. Спи.

Ночью, у выхода из балки, напоролись на разведку противника.

Скоротечен и лют ночной бой без выстрелов, когда в ход идут ножи и зубы, а люди, привыкшие скользить в темноте молча, стремительно и расчетливо вершат свое суровое дело.

Пенкин интуитивно выбросил вперед руки и крутнулся вокруг себя.

Удар ножом пришелся в перекрестье рук, резкий поворот усилил инерцию нападающего. Немец кувырнулся лицом в снег, мгновенно привстал, но приклад автомата Пенкина тараном врезался ему в затылок. Немец пискнул и затих, уткнувшись головой в снег.

Пенкин, сопя от натуги, навалился, завернул немцу руки за спину, выхватил из клапана маскхалата сырмятный ремешок, быстро связал. Прислушиваясь к невнятной возне неподалеку, перевернул немца на спину, глубоко засунул ему в рот шерстяную перчатку, тут же вскочил.

Второй немец сидел на Туманкове верхом.

Еще раз ударил Пенкин прикладом, когда немец стал заваливаться вбок, выхватил финку, сунул ее в широкую, как плита, спину.

Туманков лежал, мерно сжимая и разжимая кулаки, в горле страшно хрипело. Пенкин упал рядом, приблизил лицо к лицу друга, лихорадочно высматривая, что с ним.

– Ты чего, задел он тебя?

– В бок... – трудно прошептал Туманков. – Потом в пах, Жорка, у меня кишки в штанах. Чую, провалились они в штаны, хана мне.

Невыносимая боль опоясала низ живота, Туманков захлебнулся ею, намертво сжал зубы, чтобы не закричать по-дурному.

– Заштопаем, – скрипнул горстью снега в кулаке Пенкин и заплакал.

Немцы подняли сильную стрельбу, то ли что почуяли, то ли от скуки. С нашей стороны стали отвечать. Пенкин быстро огляделся – ни те, ни другие их видеть не могли. С одной стороны прикрывал хребет пригорка, с другой – кусты, за кустами чернел провал балки.

Пенкин припал к Туманкову, обшаривая руками неподвижное тело. Маскхалат разведчика у пояса был пропитан липким и горячим, тише становился хруст снега под его локтями, он смотрел прямо перед собой в ночное небо, смотрел истово, с какой-то суровой значимостью.

– Жорка, меня не бросай, я быстро кончусь, погоди. В Москве к моим иди, финку, часы, портсигар сынам.

– Коля, ты воздух набери и не пускай с глотки, доволоку – заштопаем! Крепко держи, и молчи, со словом дых уходит, а он тебе нужен! Соберись, а?

Жарко шептал Пенкин, его трясло, как в лихорадке, то принимал к умирающему другу, то хватался за автомат и оглядывался. Туманков широко открыл глаза, повернул голову, веки дрожали:

– Ты женись на ней, слышишь? Другой такой нет, не смотри, что трое, не смотри. Дети быстро растут, если не женишься, я оттуда являться буду.

Протянул руку Пенкин, чтобы зажать рот другу, в смертной муке повысившему голос, и отдернул...

Про связанного немца совсем Пенкин забыл, вспомнил, когда подходил к КП. Поманил шедшего рядом молоденького лейтенанта, коротко рассказал о «языке». Лейтенант задохнулся от возмущения.

– Ну ты даешь, из армии связь оборвали, с этого участка «язык» нужен! Сазонов, Ельцов, ждите здесь, никуда отсюда, голову оторву!

Бойцы бережно сняли со спины Пенкина мертвое тело, положили на дно траншеи, сели курить. Он стоял, сгорбившись, шевелил онемевшими плечами, испытывая вялое равнодушие, даже есть не хотелось. Разглядел огонек сигарки в рукаве ближнего бойца, молча протянул руку. Боец вскинул голову, хотел что-то сказать, но второй сильно пихнул его в бок. Боец протянул прикуренную сигарку, шмыгнув носом, отвернулся.

Пенкин курил, обжигая губы, смотрел через поле в темноту...

Утром его вызвали. В землянке оказался незнакомый майор, высоченный и тощий, с унылыми, обвислыми усами. Он оглядел Пенкина, полистал папку, лежавшую перед ним, постучал по ней костяшками пальцев.

Пенкин доложил, что прибыл, стоял, смаргивая одурь после короткого и тяжелого сна. Майор кивнул, прикурил другую папиросу от окурка, поискал глазами, куда его бросить, и, смяв в длинных, смуглых пальцах, оставил на столе.

– Садитесь.

Пенкин сел на чурбак, положил на колени руки, стал смотреть на них. Молчали. Наконец, майор заговорил густым, с сипотцой голосом:

– Как получилось, что Туманкова мертвого принесли, а командира оставили?

Пенкин молчал. Его что-то раздражало, сначала он никак не мог понять что, потом поднял голову.

– Не надо стучать.

Брови майора взлетели вверх.

– Пальцами по столу стучать не надо!

Майор машинально стукнул опять, убрал руки со стола и густо покраснел.

– Нервный. Место, где оставили убитого капитана, указать сможете?

– Чего его указывать, оно тут. – Пенкин ткнул пальцем в лоб и ухмыльнулся. – Извините, конечно, товарищ майор, а что вы со мной,

как с гадом? Мы с Туманковым капитана сами хоронили, там похоронщиков нет. Ему в лоб попало, и поминки по нему справили.

– Поминки? – удивленно смотрел капитан.

– Караул накрыли, когда обратно шли, завернули, ну и...

Майор развернул карту на столе, знаком показал Пенкину приблизиться. Пенкин привстал, оперся локтями на стол, стал смотреть.

– Значит, так, – майор ткнул пальцем в карту, – тут переезд, здесь вы сработали склад, так?

– Так, – устало кивнул Пенкин.

– Дальше пошли сюда, мимо мельницы, по берегу, вот этой петлей. Здесь роща справа, тут рукав от реки. Но зачем лесом пошли, вот что мне непонятно, почему не по берегу? От рощи недалеко.

– Танки у них в роще.

– Как танки? – майор оторопело поднял голову. – Кто видел?

– Я и Туманков видели, и капитан, теперь я остался.

– Ну! Да не тяни ты, Пенкин, кота за эти самые! Соображаешь, что значит – танки?

– Капитан говорил, рощей засыплемся, надо ночь переждать и леском на полотно. С полотна к берегу и по льду, с правого бока у своих будем. Его рыжий стрельнул.

– Какой рыжий?

– Караульный немец наугад с дрезины шарахнул, аккурат, капитану в голову. Мы в кустах лежали. В том леске и схоронили, не донести нам его было, далеко.

– Точно танки? Если брехня – нас с тобой по пояс в землю вобьют и краской покрасят, вместо памятников!

– Отвечаю, товарищ майор, не мальчик.

– Черт, ну и ну! Еще что видел, Пенкин, пехота, артиллерия?

– Этого нет, а за танки крутите дырку в кителе.

– Как бы уши нам не открутили, – уставился в стол майор.

Пенкин спросил разрешения закурить из майорского портсигара, майор кивнул.

– Товарищ майор, если не секрет, как нашего капитана фамилия? Когда хоронили, выпили за Ивана Армейского, так мы с Туманковым придумали.

Пенкин отчего-то страшно взволновался, жадно, во все глаза, смотрел на медленно прохаживающего по землянке майора – три шага вперед, три назад, три вперед, три назад. Майор усмехнулся.

– Армяков его фамилия, и с именем не ошиблись – Иван.

Пенкин побледнел, встал, судорожно рванул ворот маскхалата.

– Я знал.

– Идите, но будьте рядом, проводят и покормят, потом в штаб.

– Есть в штаб!

Майор схватился за трубку телефона, Пенкин вышел.

Ночью не спал, распутывал нить совпадений на войне и не мог распутать... Когда уснул, то во сне стонал и плакал. Проснувшись, ощупал мокрое лицо, сел курить. За много лет эти слезы были первые, возле умирающего Туманкова тоже плакал, но не заметил этого. Пенкин растерялся.

Курил, поглядывая на часы Туманкова, лежавшие на столе, потом взял их и поднес к глазам ближе. Стрелки светились. При свете фонаря Пенкин разглядел, что на задней крышке чем-то острым, видимо, иглой, было выцарапано: Москва пл. Журавлёва дом № 2/8, кв. 13, Туманков Ник. Гр.

Пенкин подкрутил колесико завода пружины и уснул.

Во сне он разувался и шел по предательски хрустящему снегу к караульной будке и никак не мог пройти. Силуэт часового быстро уменьшался, пока не пропал совсем.

Когда загорались звезды, сон начинался сначала...

Старик проснулся, чутко прислушался к своему огромному, мосластому телу – под сердцем появилась «заноза». Это не было похоже на приступ стенокардии, она начиналась с горла, куда подкатывало его уставшее за семьдесят пять лет, большое сердце. Хотел повернуться на бок – и оторопел, так это было неожиданно.

Заноза превратилась в бревно, его забили в грудь. Мир заслонило черное, расширяющееся пятно, дыхания не стало. Старик покрылся потом, растопырил пальцы рук, со стоном прогнулся и замер.

Ноги похолодели, пробежал ноющий, противный озноб. Он понял, что умирает.

В комнате сопели внуки. Сноха на заводе, эту неделю работала в ночь. Старик с горечью представил, как придет с работы Тося, найдет его мертвым, сколько забот свалится на ее худые плечи! И эти, малые-

то, переполошатся, а главное, прорва расходов, одни могильщики сколько хлеба слупят! Беда.

Теряя сознание, он рванулся, сгреб руками простынь, перевалился к краю и рухнул плашмя с кровати.

Очнулся от боли. Провел рукой по лицу, почувствовал горячее, мокрое и счастливо заулыбался разбитому носу. Недоверчиво вслушался в стук сердца, как будто пронесло. На шее туго билась опавшая жила, ноги сухи и теплы, без противной обмирающей испарины. Старик зло ощерил беззубый рот, неизвестно кому погрозил кулаком и стал вставать.

Сердце опять ухнуло куда-то вниз, но тут же забилось, залопотало горячо и гулко, наливая тело приятной тяжестью. Он некоторое время стоял на четвереньках, потом осторожно поднялся на ноги. Шагнул к дивану, где спали внуки, смотрел на них и жевал губами.

– Черти! Оболтусы! Дед чуть в ящик не сыграл, а они пузыри пускают! – гундосил Старик в разбитый нос. – Вот спят без задних ног, как умерли. Набегаются до курячьего обморока, потом не добудишься, тьфу ты, прости мою душу грешную, язвы вас!

Он шепотом отвел душу, побрел влезать в валенки. Это было трудно, по старости он имел привычку надевать на ноги трое-четверо носков, а валенки были туговаты. Долго топал в коридоре ногами, вспотел, когда влез, пошел шмурыгать по квартире.

Покрутил кран на кухне, похмыкал на ржавую воду, постоял, сливая, потом набрал кружку и жадно пил, постанывая от удовольствия, ворочал худой, жилистой шеей. Напившись, сел чистить картошку. Картошка своя, с участка в Щелково, осталось едва-едва четыре мешка.

Кожуру снимал аккуратно, сгребал в кучу и заворачивал в бумагу. После просушки кожура перетиралась на терке, из нее выпекались оладьи и блины. Внуки от таких «оладьев» воротили носы, Тося жаловалась на изжогу, они целиком доставались Старику.

Он ел их с видимым удовольствием, победно поглядывая на домашних. За долгую жизнь приходилось ему есть и похуже, особенно в японском плену.

Лютую изжогу Старик забивал содой, он купил ее перед войной у хитрюги с кондитерской фабрики – сразу сто пачек. Зачем так много, он не мог объяснить.

Картошку Старик мелко порезал, сложил в кастрюлю, высыпал туда половину старательно размятого гречневого брикета, посолил и залил водой. Долго держал в руках пачку маргарина, шевелил бровями, но раздумал, положил обратно в шкаф.

Когда тащил кастрюлю на огонь, чуть не опрокинул, еле-еле успел подхватить, при этом неловко повернулся. Добрых десять минут топтался на месте с выпученными глазами, придерживая рукой шею, шипел матерными словами.

Разжигая примус, засорил глаз и освирепел окончательно. Поволокся в комнату к зеркалу, в сумерках проглядел стул, загремел через него, ушиб плечо. Один из внуков, не разберешь кто, проснулся, поднял от подушки кудлатую голову:

– Че ты, дед? Как этот...

– Я те дам «этот», умри, дьявол, соплив деду указывать! Я для вас официантом стал, подай, принеси, а они в рогатки пулять будут, по чердакам скакать! Тресну по бестолковке, на что, ирод, фуфайку изодрал?

– Это Пашка.

– Вас, дьяволов, не разберешь, надо, как худых козлов, краской по лбам метить или бубенцы вешать. Соньку затуркали, а она вдвое меньше... Куда лезешь, охламон, задавишь сестру!

– Че, дед, кто ее давит-то? Обдююсь, пусти!

Вывернувшись из дедовых рук, Кешка прошлепал в туалет. Старик с досадой пошевелил вслед бровями, стал поправлять сползшее с маленькой Соньки одеяло. Пашка спал с открытым ртом. Старик осторожно вытащил и положил удобно руку внука, усмехнувшись на половину отколотого его зуба.

– Встань, ирод, встань! Я те чуб за фуфайку истаскаю!

Пришлепал Кешка, юркнул под одеяло. Старик стоял молча, смотрел на вздрагивающие веки внука – притворяется, шельма, что уснул сразу.

– Ноги не ошпарил, бежал-то? – спросил Старик. – Ничего, спи, а встанете, будет вам выволочка за стекло Макеихи и за то, что сахар стащили, мать с работы придет, чем поить? И рогатки изломаю.

– Найди, – глухо отозвался Кешка, – потом ломай.

– Найду, найду! – в тон покивал Старик. – А найду, так отполирую, во весь дом орать станете, а матери нажалуетесь, я вас совсем на нет

сведу! Она, бедная, мыкается, а эти стервятники ее в трату вводят, огорчают, одежду рвут.

- Ты не дерись!

- Умри!

- Тогда так щелкнул, думаешь, не больно? У тебя щелчок железный.

- Другой раз не так щелкану.

- Дед, чего это Мюллеров заарестовали, а? Какие они «враги народные», дядя Отто в офицерах, тетя Марта болеет.

- Чего это ты? – растерянно переспросил Старик, не ожидавший вопроса.

- Не, правда, дед! Их ночью заарестовывали, а безногий Сашка сказал на Сталина «гнида усатая, кровью поперхнется!», я слышал!

Старик задохнулся от ужаса, плюхнулся на стоявший рядом стул, дотянулся до его плеча, крепко ухватился.

- Христом Богом, погоди... – Старик гладил другой рукой горло, переводя дух. – Молчи, милый, про все молчи, нельзя! Мамку нашу... Без мамки останемся, я умру, а вы малые!

Он горько заплакал, быстро вытирая слезы одной рукой, другой цепко держал внука за плечо, пытался что-то сказать, но только всхлипывал. Перепуганный Кешка некоторое время смотрел, потом заплакал сам, соскочил и уткнулся деду в плечо.

Так, обнявшись, и сидели, пока не успокоились.

Старик уложил его на диван, укрыл одеялом, погладил по голове и пошел на кухню. Поставил кастрюлю на огонь, сел на низенькую скамеечку, просунув руки меж колен, сцепив большие, костлявые кулаки.

Солнечный луч долго путался в занавеске, нашел щель и прянул в кухню. Упал на стариковский лоб, разом высветив лицо...

Тяжел Старик – поросшая седым волосом грудь, когда-то развернутые, теперь обвислые плечи, плита спины, сизое, в крупных морщинах, рубленое лицо. И взгляд тяжел, но когда улыбался, мелькало в глазах что-то беззащитное, виноватое.

Думы у него разные. Например, где взять кожаную латку на валенок – дело к зиме? Как выудить у Пашки рогатку, если он ее прячет неизвестно куда? Каким будет паек? Внуки прожорливые стали, друг перед дружкой на еде выпендриваются, «мужчины», язвы их! А Сонька светится, до того отощала, ей бы морковки, жиров... Растительное

масло, оно тоже витамин, но говядина – это покрепче будет, или сала, например, кусок добрый на хлеб.

Покрутил головой, встал попить воды.

Стукнула входная дверь, пришла сноха Тося, зашаркала тапочками в передней.

– Тось?

– Я, пап, ты чего так рано?

Она прошла на кухню, села у стола, откинувшись головой к стене. Старик обеспокоено взгляделся в ее бледное, без кровинки, осунувшееся лицо, стал торопливо наливать в кружку кипяток, резать пайковый хлеб. Отрезав два ломтя, подвинул к Тосе, погромел крышкой кастрюли, проверяя кулеш, достал из шкафа сахарницу, выбрал кусок сахара «посправнее» и положил на хлеб.

– Без ног? Ешь, архаровцы с десяти вечера дрыхнут, вчера по крышам сараев лазали, того гляди, шеи посворачивают. В войну играют, проклятые, а я чуть дуба не дал нынче, с постели кувыркнулся, глянть!

Старик сунулся вперед, показывая снохе сизый, напухший нос.

– Сопатку разбил, должно, помру скоро.

– Зачем?

Тося зябко передернула плечами, внимательно взгляделась в Старика. В последнее время чувство страха и неминуемой беды не покидало ее. От мужа не было писем, Старик вот, только-только ногу излечил, три месяца мучился с шиной, и на тебе, умирать собрался!

Она взяла кружку, стала пить. Хлеб отламывала кусочками, медленно и трудно жевала, к сахару не притронулась. Старик некоторое время хмуро следил, как она ест, потом быстро протянул руку, сгреб сахар в ладонь и бросил в ее кружку. На улыбку снохи, что-то невнятно пробурчал и встал.

– В ноги вступает, вот чего, скипидару бы или одеколону.

Старик сокрушенно покачал головой и занялся делами. Дела нехитрые, сегодня суббота, значит, постирушки. Выволок на середину кухни табурет, поставил на него таз. Долго, недоверчиво оглядывал со всех сторон обмылок, что-то пришептывал. Налил воды, добавил кипятка из чайника, поболтал в тазу рукой, размешивая, недовольно косился на улыбку снохи.

Тося улыбалась, спорить бесполезно, упрямый Старик сам стирал свои носки, трусы, подштанники. Если случалось это делать Тосе, то он

начинал с тихого ворчания, потом расходился, и все кончалось лютой руганью и хлопаньем дверью. В конце концов, он садился на диван, шевелил бровями, не разговаривал, а листал старый календарь и жевал губами. Связываться с ним не стоило.

– Пап! – позвала Тося.

Старик независимо повел подбородком, не отвечая, принялся складывать горкой грязное белье, ходил по кухне туча тучей...

– Пап, ты же умирать собрался!

– Мужик твой придет, ему и постираешь, мне нечего. Ноги таскаю, таблеток не пью, а водки нет. Я твоего Николая, знаешь, как один раз выходил, нет?

Тося слышала эту историю раз пятьсот, но отрицательно покачала головой, откинулась к стене, приготовилась слушать. Внутри от усталости дрожала какая-то струна. Она физически ощущала ее – вот-вот лопнет, оборвется, и... Но спать не шла, потому что знала – не уснуть ей в это время. Того гляди ребяшня встанет, возню затеет, приставать начнет. А то станут все на цыпочках ходить, сон ее оберегать, а это еще хуже.

– Как, пап?

Довольный Старик тут же плюхнулся на стул – он до боли любил разговаривать о сыне. Получая с фронта долгожданные треугольники, Старик никогда не читал их первым. Клал на стол или на видное место в комнате, напуская на себя чрезвычайно озабоченный вид, копошился по мелочам.

Когда Тося прочитывала ему вслух письмо, он важно кивал, шевелил бровями и ничего не понимал. Уже потом, когда все ложились спать, Старик садился на кухне за стол, нацеплял очки и медленно, слово за словом, разбирался в «николашиной писанине». Плавился горькой, старческой слезой, пил «аверьяновку», поминутно царапал костенеющими пальцами левую сторону груди.

Утром, когда Тося уходила на работу, Старик делал подъем и «аврал» внукам, сажал их не одетых на стулья и торжественно, с надрывом в голосе и выражением читал отцовское письмо. Маленькая Сонька тарасила спросонья глаза, зевала.

Близнецы Пашка и Кешка сначала слушали серьезно, потом начинали хихикать над дедовыми прыгающими бровями, и тем как он читает по слогам. Старик выходил из себя, пытался сохранить

торжественность момента, но чтение заканчивалось скандалом и изгнанием внуков на улицу.

Дочитывал он письмо отца одной Соньке, мирно спящей у него на коленях. С ней и беседовал на тему фронтовых новостей. Обсуждал варианты «отступлений-наступлений», главное, не встречал с ее стороны возражений, если надумывал перечитать письмо еще раз и обязательно вслух.

– Значит, вот чего, Тось! – Старик облокотился на стол. – Это, когда Николаю шестнадцать стукнуло, в деревне был кержак, его Упырь звали, деньги в проценты давал. У Упыря дочка в дурочках ходила, с виду ничего, а как накатит, спасу нет, того гляди, сожжет или драться кинется! А Колька с дружками к Упырю в сад лазать наладился, яблоки трясти. Она, дочка-то упырева, грозилась, а с них что возьмешь, молодые, зубы скалят и все. И, Тось, приносят мне твоего мужа в ночь. Мать – покойница, хлопнулась сразу. Колька синюхой взялся, едва дышит – эта упыриха в него с десяти шагов жаканом волчьим стрельнула, поняла? Волка – это что, такая штука медведя с ног свалит! Застыл я, не всколыхнулся даже... Дырка у него тут, где кость начинается. – Старик ткнул себя пальцем под левую ключицу. – Из дырки кровь еле-еле! Врачей, где искать, да и не было у нас в ту пору врачей, криком кричи – нуль! Щупаю пальцем, твердо, потом объяснилось, что промахнулась упырева дурочка, в доску забора попала, а сквозь нее – в Кольку. Потерял жакан убойную силу, но дыра есть. Переворачиваю его спиной кверху, что силы кулаком трись! И выпал свинец. Дальше слушай, беру стакан водки, и прямо в дыру, Колька стонать, а я и ему стакан! Мать на меня с кулаками, сгубишь единственного! Третий стакан в себя влил, через неделю парень на ногах.

Старик победно смотрел.

– Продезинфицировал? – устало улыбнулась Тося.

– Ирод Пашка рогаткой пуляется, – вспомнил Старик, – я его изловил, он опять спрятал. И не найдешь, хоть собак приводи! Вчера сын Макеихи – генеральши, Сережка, на сквере апельсин чавкал. Наша малая стоит, слюни распустила, чуть не плачет. Я ее турнул, чтоб не попрошайничала.

– Она маленькая, пап, чего уж ты?

– Я Николаю ругательное письмо послал, пусть почитает, третий месяц молчит.

– Может, не доходят?

– Я те дам, не доходят. У всех доходят, у него нет? Баламут с малолетства! Соньке витамины нужны, тьфу ты, Господи, как его? Гама... геман... гамантогент, что ли?

– Гематоген?

– Во-во, Сонюшка в рост идти должна, а она у нас все пигалица. Пашка с Кешкой поменьше были, так хоть жрали, а эта по капле!

– Прилягу на чуть-чуть, пап?

– А кулеш?

– Потом, ты ребят накорми, как встанут, в час толкни, я трусы прострочу. У машинки шпулька западает.

– «Шпулька!» – скосоротился Старик. – Один нос остался, того гляди, ветром свалит, а все шпульками заботится! Спать надо, иди, полежи, я их, дьяволов, турну нынче, турну!

Тося ушла спать. Старик сел на скамеечку у окна. Долго смотрел на полку, где лежал кисет с табаком, не выдержал, протянул руку, отсыпал добрую горсть, свернул сигарку и даже поперхнулся слюной, когда прикурил, так соскучился. Не просто курил, а выпустив изо рта струйку дыма, рукой подгребал, подгоняя ее к носу, чтобы до конца и полностью испить табачную горькую сладость.

Потом он стирал.

А Кешка, лежа на диване, рассматривал стоявшую на комодке фотографию верховного главнокомандующего. Вспоминал, как страшно кричала красивая тетя Марта, соседка по лестничной площадке, жались к стене дворник и бывший боцман Карасев, что жил на пятом этаже. Их какими-то «понятыми» позвали строгие люди в красивой форме...

Сашке Проклову обе ноги в сорок первом на Можайском шоссе бомбой с самолета оторвало. Едва жив остался. У него и мать, и отца, и брата старшего в лагеря за шпионаж услали, там и сгнули. Сашку хотели выслать, тут война, не до него стало. На второй день войны без ног остался.

Кешка к Сашке в комнату часто ходит. То помочь, то еще чего, а больше из любопытства. Кешка деду сказал про обзывание Сашкино, но дед – могила. Если, не дай бог, кто узнает, что безногий частушки себе под нос про Сталина наяривает, все! За них ему те, в форме красивой, руки вырвут.

Вот только пьёт Сашка – это Кешке очень не нравится. Особенно, когда он его за самогоном гоняет с барахлом, что от матери и отца осталось. То пиджак, то кофту, а на прошлой неделе кольцо носил.

Кажется мальчишке, что смотрит Сталин с картины прямо ему в переносицу. Тяжело и пристально смотрит, словно тайну какую-то знает, и тайна эта, того гляди, всем во вред окажется.

Скосил Кешка глаза – расплылся вождь в тусклое пятно, вернул глаз на место, и вождь опять смотрит. Вдохнул, на брата ногу закинул, а Пашка спит, ему никогда и ничего не надо!

Разные они, хоть и близнецы. У Пашки одна страсть – рогатка, из нее без промаха бьет.

Призыву он не подлежал из-за врожденного слабоумия. Неразвитый мозг свободно умещался в большом бугристом черепе. Мысли были короткими и невнятными, сердце добрым и приветливым. Митенька всегда беспричинно улыбался, любил держать людей за руки, прижиматься плечом к груди и класть голову на плечи.

При этом лопотал тонким голосом что-нибудь трогательное, вроде «так лублю-у, ух как! Ты хаёший, у, какой!»

В тридцать лет Митенька едва достиг развития четырехлетнего ребенка.

Погрузив его разум в зыбкую дремоту, природа, как бы в насмешку, оставила на поверхности гениальную память.

Окружающих поражало, как мог этот дремучий мозг помнить практически все, что касалось работы почтальона. Стоило назвать любую фамилию с многотысячного участка, и Митенька безошибочно называл номер дома, квартиры, так же перечислял всю корреспонденцию, выписываемую этим жильцом или его домочадцами.

Все это с трогательной улыбкой идиота, не выговаривая букву «р», тонким голосом бесполого существа.

Его любили. Угощали конфетами, поили чаем, на «дорожку» пихали в карманы неизменной телогрейки мелочь. Почтальон к этому привык, он был неотъемлемой приметой этого района, о которой рассказывали посторонним.

Когда это кончилось, Митенька не понял. А кончилось нелепо, страшно и стремительно. Удивляться не умел, поэтому смотрел вокруг с трогательной улыбкой, так же объяснялся всем в любви и брал за руки. Его стали избегать.

Воронка войны втягивала в себя все новые и новые людские судьбы. Митенька улыбался, протягивая адресатам похоронки, ждал подарков и лопотал нежно и горячо, широко раскрывая глазки.

Сапожник Нефедов, когда Митенька принес ему похоронку на третьего сына, схватил молоток, со стоном кинул в почтальона. Инструмент врезался в полку, с нее посыпались гаечные ключи и железки, одна стукнула почтальона по многострадальной голове.

Ошалев со страху, почтальон бросился бежать, но вместо двери стал ломиться в стенной шкаф, запутался в полушубках, плащах и пальто, завыл дурным голосом. Оттуда его вытащила дворничиха Максимовна, почтальон размазывал по щекам грязь и слезы, в ужасе озирался.

Дома он рассказал старухе-матери и снова плакал. Мать слушала молча, потом слезла с сундука и бросилась на сына. Схватив за волосы, всхлипывая, драла так, что Митенька еле вырвался, убежал во двор прятаться за сарай. Отсиживался там два дня, стуча зубами от страха, голода и непонимания происходящего.

Но дошло до убогого, он понял, в мире что-то произошло, он страшно и непонятно изменился.

Четвертую похоронку, что пришла через три месяца тому же Нефедову, уже на дочь, лейтенанта медслужбы, Митенька адресату не доставил. Часа два простоял за почтой, у стены, где пожарная лестница, морщил лоб, отковыривал известку и ел, усиленно моргая. Думал.

Проклятую бумажку сунул в ржавую консервную банку, заложил свободное пространство камешками и закопал под акацией в сквере, старательно присыпав пожухлыми листьями.

Дома долго рылся в старом ящике, где хранил свои «сокловища», сел за стол, вооружившись красным карандашом.

Сапожник Нефедов всем показывал странное письмо без адреса и подписи, с одним-единственным листом, на котором была наклеена картинка с самолетом и облаками. На листе аккуратно выведено слово «луублю».

Поудивлявшись, Нефедов спрятал картинку вместе с документами своими и погибших детей, часто доставал посмотреть, как маленький «ястребок» разрезает винтом игрушечные облака.

День обещал быть ненастным, но к обеду подул напористый ветер, и валкое дождевое облако ушло за Язу подыхать тоскливым, сентябрьским плачем. Солнце быстро нагрело мостовые и камни домов.

Ушлые военные воробьи подняли гвалт, перелетая в воробьином беспокойстве с места на место. Тренькали трамваи.

Митенька остановился у дома 2/8 по площади Журавлёва, улыбнулся шедшей навстречу дворничихе Максимовне. Она волокла тяжеленное ведро с песком, на ходу вытирая рукавом драной фуфайки распаренное лицо.

Увидев почтальона, Максимовна остановилась, поставила ведро под другую руку, вопросительно подняла белесые брови.

Лицо у Максимовны широкое, с коротким носом, глаза маленькие с выгоревшими ресницами, рот с вечно поджатыми сердитыми губами. Фигуры у Максимовны нет. Плечи сразу переходят в талию, где-то посередине колышется необъятная грудь, а бедра и ноги начинаются незаметно, как бы овал переходит в овал.

Бывший боцман Карасев из двадцать седьмой квартиры, встречая Максимовну, надолго останавливается, неопределенно шевелит в воздухе толстыми пальцами, изрекая непонятное: «Не корабль баржа, а плывет!» При этом хмыкает плотоядно и гладит ребром ладони рыжие усы.

С бывшим боцманом у Максимовны отношения сложные. Года три назад он как-то пришел к ней навеселе свататься. Принес торт и бутылку красного. Изумленная Максимовна усадила гостя, села сама.

Боцман полчаса бурчал невразумительное про «совместное плавание», и что шестьдесят три – это не года, а так, муть одна! Выпил бутылку и не к месту принялся рассказывать, как гулял в иностранных портах и какие там есть «замечательные смуглявочки».

Максимовна вздыхала на «совместное плавание» и года, вытирала покрасневшееся лицо платком, советовала «говеть и ходить в храм». Когда речь пошла о «смуглявочках», Максимовна недоверчиво покачала головой, потом побагровела.

Боцмана из квартиры поперли в толчки.

Торт противно шмякнулся у ног «моремана», распавшись на бисквит, крем и ленточку с коробкой отдельно. Раздосадованный боцман пошел «на абордаж», но поднаторевшая в уличных схватках с пьяницами Максимовна, быстро и ловко помогла ему спуститься с лестницы, пригрозив сдать в милицию, если не прекратит хулиганство.

– Во! – Митенька с восторгом ткнул пальцем в ведро с песком, стоявшее у ног Максимовны. – Зазыгалки тусыться будут! Немец полетит, а бонбы песком, да?

– Дурачок ты маленький, – ласково улыбнулась Максимовна.

– Я большой! – Митенька поправил сползшую с плеча почтальонскую сумку. – Мне тлицать годиков! Мне пасполт давно дали, кода исо маленький был.

– Ты в наш подъезд? – обеспокоилась Максимовна.

– В тлинадцатую квалтилу, тете Тосе Туманковой, письмо плинес.

Митенька похлопал рукой по сумке, Максимовна настороженно взгляделась в его лицо, решительно протянула красную от вечной воды руку.

– Дай письмо, дай, кому говорю, ощерился-то! Ну-ка, горе мое!

Почтальон улыбнулся, взял из сумки конверт, протянул Максимовне.

– Господи, трое у Тоськи и старик, мамочки мои родные, что ж это? – дворничиха схватилась за горло.

– Нельзя читать чужые письма, – строго сказал Митенька. – Влаг не длемлет!

– Враг – это ты, зараза! – выдохнула Максимовна, глядя в его пронзительную синеву глаз. – Долго будешь таскать письма эти, башка твоя дырявая? Долго ты сиротить людей будешь? Иди, чего осклабился, сволочь, неси!

Митенька отшатнулся, заморгал быстро-быстро, сел прямо на тротуар и заплакал. Максимовна подхватила ведро с песком, сделала несколько шагов, но тут же бросила ведро, кинулась к Митеньке, обхватила руками его голову, упав на колени, взвыла.

Открыл Митеньке Старик, строго оглядел почтальона, вопросительно поднял брови. Почтальон протянул конверт и сразу пошел по лестнице вниз. Старик недоуменно посмотрел вслед, послушал, как хлопнула входная дверь подъезда, повернулся, зашел в квартиру, аккуратно и тихо прищелкнув за собой дверной замок.

На кухне Старик сел за стол, чутко слушая, не идет ли Тося. Что делали его руки, он не понимал. Машинально вскрыл конверт. Прочитав страшную бумагу, вспомнил про очки, сосредоточенно обшарил глазами кухню, искал.

Передвинул их с затылка на глаза, еще раз прочитал бумагу, осмотрел печать, подписи, зачем-то поднял на свет, взгляделся сквозь бумагу. Положив на стол, крепко провел по сгибу прокуреным ногтем, сложил лист еще раз и опять провел.

Движения его были скупы и замедленны. Когда сгибать стало невозможно, тогда Старик нагнулся, засунул свертыш в шерстяной носок. Выпрямившись, посидел, ожидая отлив крови от головы, и принялся за прерванное дело, он гладил белье.

Выгладив последнюю ребячью майку, Старик сложил белье в аккуратную стопку, перенес на подоконник. Налил в таз воды, попробовал пальцем – кипяток. Сел за стол, ожидая, когда остынет вода.

На глаза попалась солонка, Старик стал есть соль. Брал щепоть и клал под язык, не чувствуя вкуса. Когда скулы свело от невыносимой горечи, поднялся попить.

В кухню влетели Пашка с Кешкой, стали воевать из-за права попить первому из крана. Старик знал, что надо навести порядок, но забыл, как это делается. Поэтому просто поддал и тому, и другому по затылку, указал на дверь. Внуки притихли, опасливо смотрели деду в лицо, вышли, часто оглядываясь.

Старик прикрыл за ними дверь на кухню. Он все время думал, а думы эти ускользали и ускользали, он никак не мог ухватить их суть. Стопку выглаженного белья он сунул в таз, и стал стирать заново.

Сердце его билось ровно и твердо. Теперь он точно знал, что не умрет ни в эту ночь, ни в ближайшие много-много ночей. До совершеннолетия внуков было далеко, о Соньке и говорить нечего. Война не могла быть вечной, а в квартире № 13 мужчин, кроме него, не было. Некому варить кулеш, ругаться в очередях и сажать картошку.

Похоронку Старик Тосе не показал. Вечером пошел загонять внуков домой, к нему с плачем кинулась Максимовна. Что сказал ей Старик, никто не узнал, но дворничиха в полчаса обегала всех, с кем успела обговорить горе семьи Туманковых.

Ничего не знала о гибели мужа худенькая, большеглазая красавица Тося. Иногда ее настораживали странные взгляды соседей, но забот было столько, что не до взглядов. Время смутное, зыбкое, тяжелое.

Однажды вечером, распирая земной шар костылями, крепко вращая в него единственной ногой, встал посреди площади Журавлёва разведчик 132-й гвардейской дивизии, гвардии лейтенант Георгий Пенкин.

Шинель свободно стекала с его госпитального тела, ворот гимнастерки распахнут, под ним бегут штормовые полосы выгоревшей, не положенной по форме, тельняшки.

Оглядел громаду дома 2/8, перекинул папироску из-под одного конца прокуренного уса под другой, плюнул в чугунную «николаевскую» урну и поманил пальцем пробежавшего мимо пацана.

– Замри! Где тринадцатая квартира?

Пацан заворожено рассмотрел два ордена Красной Звезды, отвернул полу шинели справа – открыл рот на множество сверкающих медалей, только тогда поднял глаза, разом ухватив горбатый, тонкий нос, усы и колючие глаза из-под выгоревших бровей. На костыли и единственную ногу внимания не обратил.

– Там Туманковы живут.

– Ну и... как живут? – спросил Пенкин, нашаривая портсигар.

– Нормально, – пожал плечами пацан. – У них отца убило, у Пашки с Кешкой, весь дом знает, а они нет.

– Почему? – быстро спросил Пенкин, вглядываясь в веснушчатое лицо.

– Не знаю, мамка мне не велела говорить, я и молчу. А вы немцев убивали? Хоть одного застрелили?

– Нет, – Пенкин задумчиво прикусил папиросу, – я каски красил. Для маскировки, зимой в белый цвет, летом в зеленый. А немец сам с мороза мрет, ему наступление скамандуют, он побежит и – амба, мрет!

– Как? – сбитый с толку, пацан рот раскрыл.

– Как мухи!

Кивнул Пенкин, пацану палец в рот сунул. Тот сглотнул от неожиданности, недоверчиво посмотрел, и засмеялся.

Пенкин достал портсигар с вензелем нерусским, заковыристым, сунул в него неприкуренную папиросу и пошел. Раскачивался на своих пожизненных качелях – костылях, далеко выкидывая ногу в надраенном сапоге, какие в ту пору носили генералы да интенданты из пронырливых, а из простых вояк – мало кто. Правда, еще разведчики.

У подъезда дома бывший боцман Карасев Максимовну выглядывал. Пенкина увидел, отковырял, очень даже прямо для своих шести десятков, во фронт выпрямившись. Пенкин не заметил, в подъезд вошел. Карасев его глазами проводил, послушал, как дверь хлопнула, потом обиделся.

Вадим Петрович Крючков в сказки не верил, Бога не боялся, сильно сомневаясь, что такой существует. Верил твердому советскому рублю, тайне вклада в сберкассу, а больше ничему. Даже хромому Файзулле, с кем имел дело на мясокомбинате, до конца не доверял.

Десять ящиков свиной тушенки, переложенных промасленной бумагой, пять мешков сахара, ворох копченых колбас, кадка говяжьего жира, коробки со сгущенкой и макаронами, несчетно шоколада – это личный резервный фонд Крючкова.

Остальное было в обороте.

Только за наличие этих богатств, по военному времени несметных, полагалась ему не «дальняя дорога – казенный дом», а девять граммов равнодушного свинца в стороне от жилья и кладбищ.

В его квартиру имела доступ только шестипудовая Татьяна, посудомойка столовой при заводууправлении. Она осталась вдовой еще в эпоху военного коммунизма, бывшая попадья, впадающая в меланхолию и нервный озноб при слове «ЧК».

Мелкие деньги Вадим Петрович менял на сотенные, а когда их скапливалось достаточное, по его мнению, количество, то на некоторое время исчезал. В квартире оставалась одна Татьяна, вздрагивала на шорохи, часами сидела без света, грызла копченую колбасу прямо с кожей и тихо выла от страха.

Возвращался дня через три грязный и довольный. На принесенные им остро посверкивающие камешки бриллиантов, Татьяна старалась не смотреть. Золото ее тоже не волновало. Она страстно, всем большим, коровьим сердцем любила Вадима Петровича, и каждый раз при его возвращении благостно отпотевала – обошлось.

– Марковне скажешь, на той неделе товара не будет, – гладил могучее Татьянино колено Вадим Петрович. – Зажралась в своей столовой... Прошлый раз маргарин брать не хотела, масло давай, не думает башкой дырявой, что время нынче какое? Маргарин туда-сюда, а с маслом-то, копни и... У меня клиентуры без нее хватает. Долг забери!

Татьяна кивнула, с умилением глядя на руку Вадима Петровича.

– А еще скажи, увижу, что в театр намылилась, жаба столовская, пусть на себя пеняет! Это мыслимо? – с досадой плюнул. – Шубу напялит, колец чуть не в нос насажает! Ей не пятнашку сунут, сполна будет. Лубянке на ее прелести начхать! Стрельнут за милую душу, согласно военному времени.

– Вадька, не пей, дурной становишься. Полулитру выпил, куда такая прорва?

Татьяна встала, прошлепала к окну, аккуратно задернула край отвернувшейся занавески. Вадим Петрович следил за ней с кровати, весело щурил глаза. Он любил подразнить пугливую попадью, очень веселился, когда вдова покрывалась от страха обильным потом.

– Цыц, дура, пей, не пей, тебе-то что? Жрешь сладко, спишь вволю и ладно. Поди, на паек не много ожиреешь, а? Ты бы хоть попостилась, а то щеки за километр видать. Вот она я, бери меня, МУР, толстомясую! Ты почти семинарию закончила при долгогривом своем! Чего засопела, где золото, поди, осталось «рыжиков»? Спрятала, по роже твоей вижу, спрятала... Меня не проведешь, розыскной собакой могу работать, металл под землей на три метра нюхаю! Правильно твоего попа шлепнули, не иди против власти законной, змей патлатый, чем она ему не угодила? Дом, землю отняла? У церкви не шибко отбирали, и чем Сталин не угодил? Он до церкви не касался, он врагов внутренних выискивал. А твой поп вместо того, чтобы спокойно селянам мозги туманить, пирогами кормиться, решил в переворот влезть. О, Господи, тоже мне, Георгий – змееносец!

– Победоносец. Чего привязался, спи, раз собрался.

Вадим Петрович некоторое время молча разглядывал Татьяну, потом нашарил под подушкой портсигар, закурил, окутался дымком.

– Голос у тебя, как из бочки, ну-ка, прими руку, развалилась, кобыла! Мигнуть, так у меня знаешь, какие девочки полы мыть будут? Что я с тобой валандаюсь, тебе лет сколько, хоть помнишь?

Попадья с опаской покосилась на Вадима Петровича, вздохнула.

– Отстань, ирод.

– Не, серьезно...

– На сколько выгляжу, столько и лет, все мои, чужого не надо.

– Врешь. «На сколько выгляжу...» Ты с девяностого года, поп тебя перестаркой брал.

Татьяна колыхнулась необъятным телом, приподнялась, облокотилась на руку, стала смотреть на развеселившегося сожителя. Глаза у Татьяны синие-синие, волос тяжелый, темно-каштановый. Губы пухлые, оттопыренные, подбородок двойной на грудь наваливается...

Смеется Вадим Петрович тихонечко, Татьяна ему нравится, баба в соку.

– Татуська, куда монетки от попа закопала, а? Честно только.

– Полная конфискация.

– «Конфискация!» – зло вздернул верхнюю губу. – Поверил я тебе, как же! Сестрица твоя в Фонд Оборона сколько сдала? Я помню, триста пятьдесят тысяч, вот сколько! С архидьяконом своим торжественно сдали, и еще кресты, кольца, и камней в два раза больше...

– На войну дал, война-то народная.

– Заткнись!

Вадим Петрович быстро сел на кровати, поерзал, устраиваясь, поднял затекшую руку, пошевелил пальцами.

– «Народная...» Он мне дал чего, народ твой? Отец хребет ломал, в двадцать девятом ему сломали! Народ... «Год великого перелома!» Вот и переломили. Только-только на ноги встали, батя плуг завел, лошадь, три коровы были, телок и телушка, свиней... Все хребтом, а нас – мать, батя, я и братан! Братан малой, мать болеет. Кто пахал, кто морду в навозной жиже мыл? Я и батя, а нас в Соловки? У соседа семеро по лавкам, он, гад, на лишнюю копейку норовит гулять, на работу не утянешь, баба его, кроме, как родить, ничего не может. Им новая жизнь, а нам – Соловки, поняла? За то, что он на печи в бездельниках, его в комбед! Ему Иосиф Виссарионович права дал, а мы в кулаках под расстрелы шли.

– Не все мздоимцы, не все! По делам нашим ответ держать будем.

– По делам, говоришь, тогда тебе на том свете большая сковородка припасена.

– Не мели языком, ночь на дворе.

Вадим Петрович оттопырил пальцы руки, загнул мизинец.

– Продукты в столовую Марковне кто таскает? От законной власти драгоценности попа-контрреволюционера утаила. Я не фраер, Кодекс выучил. Как соучастница хищений в особо крупных размерах в военное время, тянешь на «вышку».

Вадим Петрович хлопнул себя по животу, залился смехом.

– Связь греховная со мною, в аду сковородка обеспечена.

Закривлялся бесом, с кровати прыгнул и давай скакать по комнате!

Тарелку с подоконника смахнул на пол, ножку стола задел, с него чуть стакан не грохнулся, да Вадим Петрович успел его подхватить. Отсмеявшись, напрыгавшись, на стул плюхнулся. Татьяна не выдержала:

– Чего нагишом крутишься? Срамные твои выходки, и не молодой уже, слава Богу. Отец Таисий всегда свет тушил, потом раздевался, а тебе, что ни светлей, то радостней!

– Вот за это и шлепнули Таисия, – резюмировал Вадим Петрович. – Темноту любил поп, а темноту только крысы любят.

Сел к столу, долго и с интересом разглядывая этикетку на бутылке с водкой. Налил в стакан, глядя перед собой в пространство, выпил, не поморщился. За него Татьяна скривила лицо, с отвращением смотрела, как ходит кадык, подрагивают пальцы и наливаются краснотой уши.

Выпил Вадим Петрович, на Татьянину гримасу ухмыльнулся, встал.

– Закуси, ирод, закуси, все не как у людей, господи!

– Я не люди, – перебил ее Вадим Петрович. – Я – нелюдь.

С разбега упал на кровать, так что ойкнула испуганно попадья, застонали пружины обширной кровати. Вадим Петрович сунул руки под голову, задумчиво прикусил нижнюю губу.

Лицо у Вадима Петровича в глубоких морщинах, загорелое. Усы пшеничного цвета, уголками книзу. Нос с проваленной седловиной, ноздри крупные, четко очерченные. Хрящеватые уши... Растительность на голове жидкая, зачес делает сбоку, где волосы длиннее, прямо на плешину затылка.

– Я читал много, особой мудрости нет в книгах, но кое-что накопать можно. Так я понял, две меры у человека есть – или вор, или праведник. Праведники живут хуже воров, впроголодь, бьют их чаще, зато и памятники им, книги про них. Хотя, может, он и не был в жизни праведником. Ощипывал ближнего, как гуся худого, а как обожрался до икоты, за праведные дела взялся. Вот я вам, люди, житие свое опишу, как оно мне мечталось, а еще лучше расскажу, как вам надо жить! Веруйте, люди, молитесь, меня вспоминайте. Твои святые, что в книге читала прошлый раз, они что, работали? Дудки! Они лбом об землю бились, чьи-то грехи отмаливали. Исцеляли ладошками, а жрать им кто носил? Сухари и мед, и молоко, и... чего еще там? Вор украл и слопал, а праведник? Не крадет, ему сами приносят, да еще кланяются! Чем, скажи, те, которые власть-то, не праведники? Ну, хорошо, если он в своем деле мастак, а если нет? Если он только про будущее говорит? Гайки ни одной не сотворил, сотки не вспахал, кружку молока не нацедил, как он может управлять мною? Я вот вор, у хромого Файзуллы перекупаю продукты, через тебя в столовую отправляю и разницу в

карман. А ему воровать не надо, благоверный народ даром принесет, поклоняется и памятник поставит. Значит, есть и третья мера?

Вадим Петрович встревожено привстал.

– Тот, кто пашет, сеет – он кто? Праведник? Сам посеет, сам соберет, сам отвезет, все сам, а у него и отнимут! Скажут, сиди, не рыпайся, кормил всех и корми, не захочешь, мы тебя к стенке. А за что? Была б моя воля, я и праведников и воров – всех в расход!

– Кого оставишь-то? – прогудела Татьяна. – И тех, и этих, а кто будет?

– Был у нас в деревне один, до сих пор снится, Степка Вершинин, голь перекатная. Речи говорил про мировую революцию, про цепи порванные. До двадцать седьмого года в уполномоченных, половину деревни упек! Под «контру» подводил, а из реквизированного добра себе хозяйство справил.

Вадим Петрович нехорошо улыбнулся, дернул подбородком, Татьяна исподлобья смотрела, потом осторожно спросила:

– Ну, и чего?

– Потом его рыбы съели, – Вадим Петрович потер пальцем переносицу.

– Какие рыбы? – вздрогнула Татьяна.

– В пруду знаменитые караси водились, вот какие! Теперь спичечная фабрика, караси сдохли.

Долго молчали.

– К Туманковой мужик с фронта приехал от мужа. самого убили, мужик все рассказал. Старик похоронку спрятал, Тоське не показывал, а мужик вот он!

Вадим Петрович задумчиво водил пальцем по усам.

– Убили Колюшку? Ну, царство ему небесное! Тоська девочка фартовая, не гляди, что троих родила.

– Мужик на костылях, с одной ногой, а красивенький. В наградах весь. Вадька, ты со мной записываться будешь? Грех это, большой грех, говорю, ты по-людски бы, а?

– Туманкова теперь нет, – оставил ее вопрос без внимания Вадим Петрович.

Был у него случай, до сих пор, при воспоминании о Николае Туманкове, прыгало правое веко. Давно было...

Он стоял у дома, смотрел, как в соседний подъезд таскают немудреные пожитки новые жильцы, отец и сын Туманковы. Они были очень похожи, и Вадим Петрович с любопытством разглядывал их.

Вот тут и подвернулся ему под ноги ничейный котенок. Вадим Петрович брезгливо сморщился и отодвинул его в сторону. Котенок заурчал, жалобно промяукал и потерялся грязной головой о штанину новых кремовых брюк.

Вадим Петрович отпрянул, с огорчением разглядел появившееся на светлом материале пятно, вполголоса выругался. Аккуратно прицелившись, ударил котенка носком ботинка.

Котенок истошно мяукнул, врезался в стену дома. Он был оглушен и закружился на месте. Вадим Петрович, склонив голову набок, некоторое время наблюдал за потерявшим ориентацию животным, хмыкнул и ударил еще раз. Целил по грязной голове с оттопыренными ушами, но промахнулся, попал по боку.

Котенок не шевелился, когда Вадим Петрович занес ногу для нового удара. Не успел. Его с силой развернули – прямо в переносицу смотрели, подернутые дымкой, глаза Туманкова-сына. Вадим Петрович удивленно поднял брови, беспечно улыбнулся и сказал, ткнув пальцем в лежащего котенка:

– Живучая тварь.

– Ты зачем? – задыхался Туманков.

– Чего? – удивился Вадим Петрович. – А пошел ты!..

Следующее мгновение навсегда выпало из памяти Крючкова.

Удара он не почувствовал, просто мир непостижимым образом перевернулся – крыша дома оказалась под ногами, асфальт подпрыгнул к лицу.

Дворничиха Максимовна вылила на него ведро воды, причитая, растерла грудь и виски нашатырем. Вадим Петрович вяло зевал и сучил ногами.

В далеком детстве он видел, как деревенского пастуха лягнула лошадь, убить не убила, но пастух с того времени стал «не в себе», нес околесицу, беспричинно вздрагивал и ронял все из рук. Вадим Петрович теперь точно и очень зримо знал, что такое лошадь, лягающая человека.

Тогда он попал в больницу, там и обнаружился феномен Крючкова, освободивший его навсегда от воинской повинности, тяжелых работ и многого другого.

Придерживая ладонью чудовищно распухшую челюсть, Вадим Петрович вошел в приемный покой. Молодой врач, деловито моргая, осмотрел место удара, сочувственно посетовал на нравы улицы и попросил задрать рубашку. Вадим Петрович нехотя подчинился. Врач прильнул к его груди стетоскопом, послушал и отшатнулся.

Лицо его выражало недоумение и испуг одновременно. Тряхнув головой, он улыбнулся Крючкову, приложил стетоскоп еще раз, осторожно подставив ухо. Он шарил инструментом по груди и ниже, по животу, дул в отверстие и потел от испуга.

Вадим Петрович стоял, думая о том, что «подлец Туманков просто так не отделается...»

Заметил суету врача, озадаченно смотрел некоторое время, потом спросил:

– Не в порядке чего?

– Нет! – потрясенный врач откинулся назад. – Нет сердца!

– А-а! – Вадим Петрович придержал болевшую челюсть. – Тут оно.

– Где?

Врач изумленно смотрел, как Вадим Петрович тыкает себя пальцем в правую сторону груди.

– Как оно там оказалось?

– С детства.

Вадим Петрович застонал, проклятую челюсть прямо выламывали клещами, жгли огнем. Он с ненавистью покосился на прилипшего опять к его груди врача.

Феномена затаскали по врачам. Сначала Вадим Петрович пытался увиливать, потом присмотрелся к шумихе вокруг его «недуга» и сделал соответствующие выводы. Научился трагически замирать на ходу, хватать ртом воздух и судорожно тереть грудь.

История его болезни скоростижно распухла. Он научился падать в обморок, при этом дрожал веками и прикусывал кончик языка. Перед началом войны все справки были в идеальном порядке.

Соседи, встречая его на улице, видя, как он тихо бредет, придерживая правую половину груди, словно боясь нечто расплескать, вздыхали и говорили: «Петрович не жилец, этот недолго».

Война началась, когда ему было тридцать шесть лет. Из них семь он провел... Впрочем, об этом не знал никто, а Крючков, он же Махин Иван Данилович, он же Тишкин Николай Петрович накрепко забыл. Тогда из лагеря в тайгу бежало трое, вышел один...

– Давай спать, красавец! Жениться на мне не хочешь, и черт с тобой. Пойду в органы и скажу, судите, в шайке у воров продуктами занималась! Завстоловой Розе Марковне, сволочи недобитой, таскала, она их по цене неслыханной на сторону продавала... А у Вадьки золото есть и деньги большие, и...

Татьяна не договорила. Глаза бывшей попадьи вылезли из орбит, язык бешено и мелко мотался по нижней губе, а грудь прогнулась. Крепко держал ее за горло Вадим Петрович, наступив коленом на грудь. Лицо его было спокойным и мудрым, так как по странности природной, в минуты настоящей опасности, начисто лишался чувства страха.

Захрипела Татьяна, забила ногами жутко, выгибаясь большим телом, еле оторвала от горла железные руки, чтобы успеть выдавить:

– Пошутила! Ой, убил, окаянный!.. Убил!

Сидела на кровати, черное пятно с глаз смаргивала, оно сходило трудно, глаза слезами затекали. И Вадим Петрович сидел, руки свои гладил и нехорошо улыбался.

– Татуська, ты меня знаешь? Выходит, что нет. Куда, ты думаешь, односельчанин мой, Степка Вершинин делся? – Он засмеялся, погрозив пальцем. – Богомольница египетская, ему обидно было, столько лет «вставай, проклятьем заклеянный» пел, а тут из него душу вынимают! Я из него ремней нарезал и к рыбам, поняла? У меня другого хода нет, пожить охота. Война кончится, люди – нищета голимая, а у нас с тобой база есть, поняла? Один великий немец как говорил? Базис, вот как! Ты «Капитал» не читала, и не надо, тебе ни к чему. Эх ты, дурища, разве так можно?

Засмеялся, легко с кровати спрыгнул, к окну прошел. Татьяна недоверчиво, с опаской смотрит, а Вадим Петрович из-под доски подоконника что-то черное достает. И как давным-давно, при аресте попа непутевого, захолонуло у Татьяны, вздрогнуло оплывшее сердце и приостановилось.

На ладони Вадима Петровича лежал большой плоский пистолет.

– Вадька! – искательно нырнула в его глаза Татьяна. – Брось! Хочешь, в мусорку кину, а? Христом богом прошу!

Она стукнула кулаком в грудь.

– Защемило у меня тут, мамоньки!

Вадим Петрович сел рядом на кровать, помолчал немного и жарко, с придыханием зашептал:

– Все б вам коровками божьими по земле ползать, и заповеди ваши дохлые... «Не убий!» А если он меня убьет? И подышать с голоду неохота, а? «Не пожелай жены ближнего...» Если слаще она, жена этого ближнего? Мне всю жизнь другого Бога суют, и архангелы его с удостоверениями оперативников по земле шарят! Так что, ждате, пока они меня в рай на казенной машине отправят? Гляди! – Он выщелкнул обойму из пистолета. – Вот сколько у меня помощников, поняла? Я от архангелов с музыкой громкой уходить стану, мне от них не срок, мне от них смерть неминуемая... Дед и отец, они каждый в свое время на селе и боги, и цари были, а я кто? Мразь! За кордон уйти, чего там делать буду? «Шпрехать» по-собачьи не хочу, поняла? Этих тварюг видал, что оттуда приползают, вредители, шпионы всякие... Со мной один сидел, водокачку отравил, мы его в парашу сунули, дерьмом захлебнулся.

Вадим Петрович вздрагивал телом, лицо искажала судорога, сбегавшая от глаз к подбородку. Татьяна со страхом смотрела на него, ломала костяшки пальцев, трещала суставами.

– Сумасшедший! – наконец, потрясенно выдохнула она. – Ты сам не знаешь, чего хочешь-то!

И притихла в ужасе, глядя, как розовеет в полумраке выглаженное его тело, двигаются вместе с желваками скул хрящеватые уши. Обхватив руками колени, он раскачивался, мутно ворочал глазами и шептал, шептал непонятное, но, наверное, страшное, одному ему ведомое.

В открытую форточку ночная Москва звуками течет – машины шуршат, где-то по мостовой железо тянут, скрежет противный. Ветерок подул, смятой газетой на столе зашуршал, заворочался.

Кажется Татьяне, что на столе паук лохматый таится, нити липкие расправляет. Кашлянуть хотела, да побоялась, на другой бок повернулась. Все равно спиной страшное чувствует. Напасть, прямо! Носом в шею Вадима Петровича ткнулась, авось не схватит страшное-то!

– Господи, владыка милостивый, слышишь ли?

– Слышу, спи, четвертый час.

И вдруг Татьяна неотвратимо и ясно поняла – сердце у Вадима Петровича справа.

Учитель вошел в класс и остановился.

Все как обычно, вот его дети сидят за партами, пол и доска чистые, но...

Он внимательно всмотрелся, задумчиво потер переносицу, пошел к столу, на ходу раскрывая классный журнал. Сел, поправил галстук, чуть встряхнул кистями рук, чтобы манжеты рубашки вышли на положенную длину.

По необычному молчанию тридцати пяти учеников он понял, что произошло нечто серьезное, может быть, плохое.

– Здравствуйте, дети!

Класс встал тише, чем обычно, даже крышки парт хлопнули не так.

– Садитесь.

Он едва заметно улыбнулся, тряхнул копной густых, с проседью волос и, положив перед собой на стол руки, сказал:

– Выкладывайте! Вместе говорить не надо, встанет самый заинтересованный в случившемся.

Как по команде все опустили головы. Только Нина Полосухина, самая маленькая в классе, наверное, поэтому самая упрямая, сидела неподвижно, глядя на Учителя с истовым упорством, поджав губы, горела лицом. Вдохнула, поправила воротничок и встала. Заговорила медленно, чеканя каждое слово:

– Яков Александрович, я не имею права учиться в советской школе.

Учитель слушал, склонив голову, машинально кивая.

– Я понял, ты не имеешь права учиться в советской школе. Не спрашиваю почему, это потом. У меня вопрос, в другой школе имеешь право учиться? Если не акцентировать на слове «советской»?

– Вообще? – Полосухина растерянно оглянулась. – В школе? В какой?

– Ты сказала «в советской школе», я спрашиваю, поскольку других школ, кроме советских, у нас в стране нет, поэтому мой вопрос чисто теоретический. Смогла бы учиться в капиталистической школе, на это у тебя прав хватит?

Нина покусывала губы, красные пятна с лица почти сошли, вздернутые плечи опустились, что Учитель с удовольствием и отметил.

– Значит, права учиться с нами, у тебя нет. Теперь вкратце, что произошло, почему у вас противные физиономии, словно смотрели в замочную скважину, а вас застали? Нина, быстро!

– Моя мать вышла замуж за немца! – ответила, бледнея, Нина.

– Ну? – нетерпеливо прикрикнул Учитель. – Вышла замуж, так что?

– За немца, Лемке его фамилия, а в паспорте я посмотрела национальность!

– Твоя мама ездила в Германию?

– Он здесь, в Москве, инженером работает военным, а в Германии ни разу не был. На Волге жил, и сюда вот приехал.

Нина презрительно оттопырила губу, глаза ее сузились.

– Ботинки мне принес и пенал, еще фотоаппарат! Ботинки и пенал я в унитаз бросила, а фотоаппарат мать не дала!

Учитель долго молчал, с интересом разглядывая девочку.

– Если бы чуть больше лет, я бы решил, что вы законченная и неисправимая дрянь.

Говорил тихо и медленно, от этого каждое его слово падало, как камень в неподвижную воду.

– Работает военным инженером, следовательно, на оборону, так?

– Он немец! – выкрикнула Нина, подавшись вперед, прижав руки к груди.

– Имеет советский паспорт, значит, Родина доверила этому человеку многое, в том числе, и свои секреты. Вон из класса.

– Что?

– Я говорю, вон из класса! Умыться, высморкаться и вернуться, вечером извинишься перед матерью и отчимом. В противном случае прошу в нашу советскую школу не ходить, ясно?

Она пошла по проходу, Учитель отвернулся к окну.

Лицо его было скорбным и суровым. Ему так хотелось обнять эту крохотную девчужку, прижать ее непутевую голову к себе, заслонить от всего света, от этой войны, от недоедания... Как не хватает им нежности, доброты и внимания, детям войны. Потому и колючи их взаимоотношения друг с другом, потому так трудно пробиться в их души.

– Вам по пятнадцать лет, взрослые и понимающие люди. В жизни, как в математике, там логика математических обращений, в жизни – логика поступка. Ненависть к врагу священна, но... Фашизм – это система, которая должна быть уничтожена за свою звериную суть, но мы не воюем против немцев. Это трудолюбивый и великий народ, народ поэтов и музыкантов.

Учитель оглянулся на открывшуюся дверь.

– Садись. Ботинки и пенал из унитаза вынь, они тебе пригодятся. Я расскажу вам историю, происшедшую с одним юношей. Его дед был портным, но умел умножать в уме четырехзначные числа и извлекать любые корни из любых чисел... Юноше было нужно посмотреть белый

свет, в котором творилось нечто невообразимое. А была всего-навсего Гражданская война. И юноша пошел пешком по ее извилистым дорогам, звали его Яшка. В мешок он сунул буханку, две луковицы и страницу из Талмуда. Есть такая книга, где описывается то, чего быть не могло, но хотелось бы, чтобы было.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Стоит Бронислава у стены, замазку пальцем выко-вырывает, грызет соленый огурец, и плачет злыми сле-зами. На новом платье дыра, две пуговицы с мясом вырваны, у белого воротника одного угла не хватает. Волосы у Брониславы растрепаны, паклей во все сто-роны торчат, на щеке свежая царапина.

Муж ее, Иннокентий Вельский, «вольный боец га-зетного фронта», над печатной машинкой сопит, невер-ной рукой чистый лист заправляет. Косит на жену глазом, копиркой шуршит, муторно ему.

Вель-ский по пояс голый, брюки спереди мокрые, в дремучей бороде капустный лист застрял. Под стулом, и у стола лужа, в ней кастрюля опрокинутая, в луже рецепт щей наглядно рисуется. Вельский ноги широко расставляет, поднимаясь взять что-либо, следит, чтобы на скользких картошках не споткнуться.

Злосчастная бутылка водки на столе стоит, из-за нее сыр-бор разгорелся.

Глаза у Иннокентия маленькие, буравчика-ми из-под густых бровей выцеливают. Нос благородной лепки, губы узкие, уголками книзу скошены. Рост у не-го плевый, как говорит сапожник Нефедов, чтобы ему Броньку поцеловать, надо ей кастрюлю на голо-ву надеть и за ручки подтягиваться.

Нрава Иннокентий Вельский пугливого, больше все-го на свете боится куда-либо опоздать, из-за этого от всей жизни опоздал. Прочили Кеше когда-то хорошее будущее. Что помешало – неведомо, только бывшие способности ушли-растерялись, и будущего не вышло, а вот честолюбие непомерно распухло.

Оно его на-толкнуло мир через призму бутылочного дна высмат-ривать. Как-то так вышло, что похмелье не успе-вало литератора догнать. Не успеет глаза продрать, а припасенный стакан, сам собой, вверх дном кувывает-ся.

Писал он стихи и прозу мутные, громоздил слова на слова, шуршали они мертвым песком, осыпались на бумагу. Больше всего любил военную лирику, как «птички над пушками поют, по лафетам скачут...» У него и лисичка в лесу к танкам подбегала, нюхала и удивлялась непрошеным гостям. И солдаты, если спали, то обязательно во сне соловьев слушали. И все, поголовно, погибнуть за Родину мечтали.

Не брезговал переводами. Дело это зыбкое, поди, проверь, что какой-нибудь певец автономного округа сказать хотел на самом деле? Трактовал их Кеша, как хотел. Поэты, им переведенные, побить не раз хотели, но ко всему прочему, был Иннокентий нахален и самоуверен, чуть что, писательским билетом очень умел козырнуть.

Время от времени в газетах появлялся с очередными стихами-лозунгами, и дарил их знакомым с неизменным росчерком и надписью «С искренней симпатией».

Во дворе его не понимали. Старик Туманков, после выпитой бутылки и часовой беседы, от него как от чумы бегал. Сапожник Нефедов осторожно замечал: «Заумный мужик, таких в Сибири пришибленными зовут».

Где-то Вельский книгу выпустил, где-то рецензию написал, но кроме невнятных стихов про «костры горючие в лесах», никто результатов его плодотворного труда на благо литературы не видел. Лежал в доме роман в стихах, про который Бронислава говорила по-чему-то шепотом, часто оглядывалась, вертела у виска пальцем.

Во дворе он громоотводом был. Соберутся мужики посидеть, покурить, а скучно как-то... Иннокентий бредет! Сейчас его к себе. Кеша рвет душу, наизнанку выворачивается, а народ со смеху дохнет. Правда, тут еще сила инерции срабатывала, уж больно Иннокентий при своем переезде людей насмешил.

...В тридцать седьмом дело было. Приехала Максимовна из деревни, мешок с гостинцами до дома еле доволокла, передохнуть встала, а тут мужик из такси с чемоданами вылезает. Борода, шляпа, ботинки лаковые. Ботинки ее больше всего поразили, загляделась, а мужик вылез, чемоданы поставил, и на Максимовну в упор уставился. То сбоку, то прямо, то со спины зайдет...

Ходит кругами – и все тут! Максимовна обеспокоилась и спрашивает:

– Вам чего, гражданин?

Иннокентий голову назад откинул, глаза нетрезвые прищурил:

– Значит, так. Я телефон дам, сегодня вечером позвоните, ответит Константин, договоритесь о встрече. Он вас ваять будет.

– Он чего «будет»?

– Ваять. Если голая натура нужна, о цене договоритесь. Но под пролетарский типаж – вы то, что надо.

– Кто голая?

– Главное, грудь! – Кеша усмехается. – Она у вас на полметра вперед выезжает. Тип, женщина – крестьянка, кормилица.

– «Выезжает», – эхом повторила дворничиха. – Голая?

– Советую, деньги вперед.

Потрясенная Максимовна головой тряхнула, у нее от злости родинка фиолетовой стала. Молча сумку холщовую подцепила, в ней свинина крупной деревенской резки, и погнала «советчика» до сараев впереди своего очумелого крика.

Когда разобрались, дом со смеху скис...

Если Иннокентий рядом с женой шел, несведущего человека оторопь схватывала. Бронислава – само величие, глаза синие, дымкой подернуты, рост гренадерский, кожа белая. Литератор рядом с ней огрызком смотрится, семенит мелко, руками за все цепляется, но разговаривает солидно, медленно, немного через губу.

Стоит Бронислава у стены, пальцем замазку ковыряет, грызет соленый огурец и воет.

– Бронислава, не смей, кому говорю, не вой под руку!

Просвистел соленый огурец возле литераторского уха, а у Иннокентия и ухом сил нет повести. Завешенное богемной бородой лицо скукожил. Во рту горечь.

– Тебе странно, почему я пью, если хочешь, давай разберемся. Тебе дана сторона внешняя, быт, и все вокруг. Духовного в тебе нуль! – Иннокентий показал согнутые в кольцо два пальца. – Женское начало доминирует, поэтому ты бесишься, но принимаю тебя при всей твоей дикости, и терплю.

– Как ты мне опостылел!

Вельский, улыбаясь таинственно и мудро, нетрезвой головой качает. Мол, говори, говори, а я свое дело знаю, такое знаю, что тебе, дуре бесталанной, всей жизнью не постичь.

– Твоя ноша тяжелая, но и моя не легче. Писатель – это миссия. Ты вот меня щами чуть заживо не сварила, а если бы кипяток?

– В следующий раз вскипячу, – Бронислава кивает по-деловому.

– Муки духовные, они самые мучительные. Ты за свою жизнь хоть строку создала? Тупа, как...

Вельский пошевелил в воздухе руками неуверенно, словно обнимая нечто большое и круглое. Договорить не успел, Бронислава плюнула в его бо-роду и вышла.

Тося от удивления от-ступила – стоит на лестничной клетке Бронислава, в руках чемодан.

– До утрапустишь? Потом придумаю что-ни-будь, ладно?

– Господи, да иди уж, только в кухне сядем, от своего лунатика сбежала?

– Пусть подохнет от водки!

Бронька в дверь прошла, чемодан с грохотом поста-вила и, сев на него, заплакала. Тося испуганно прикры-ла дверь, побежала за водой.

Броньку знали все. И никто не знал Броньку как следует. Она бралась за любые виды приработка, где только можно. Стирала, вышивала подзоры и пододеяльники, сидела с чужими ребятишками и гото-вила обеды на заказ. Ухитрялась мыть лестницы в двух подъездах и затоптанный сотнями ног вестибюль Дома пионеров.

Соседи говорили, от жадности. Но ни один человек в доме не мог припомнить, чтобы Бронька отказала ему дать займы или отпустила голодным из своего дома. Она парила, жарила, мариновала, готовила впрок, со-лила и консервировала.

Содержимое этих банок про-бовали все в доме. Ни одно событие не обходилось без ее участия. Первые ватрушки – соседям, первые пирожки – ребятишкам. Иначе не бывало.

Но если кто-нибудь не отдавал вовремя долг! Вот тут начиналась другая Бронька. Она орала на весь двор, что ее разорили, призывала па голову должника всех чертей и немислимые кары. Наоравшись, одалжи-вала опять, часто тому, кто еще так и не отдал. Дворо-вые мужики часто пользовались кредитом, сум-мы копились изрядные, но, рано или поздно, отда-вались.

– Тось, я прилягу? Жорка на работе, а Старик с ребятами где?

– У Димки Букина картинки какие-то клеят. Повадились к нему... Он болеет, а они ходят и ходят. Про самолеты им, что ли, рассказывает? И Старик туда же.

– Как с Жоркой-то? Чего канителитесь, он тебя любит.

– Сложно... На диван приляг, одеяло дам. Бронь, без тебя лунатик совсем сопьется!

– Пальцем не пошевелю. Я, если и выйду замуж, только за генерала, еще лучше за яз-венника, они не пьют.

– Еще как пьют, на хлеб мажут.

– Вот, заразы!

Повернулась Бронька к стене и с великой обидой на пьющий мир уснула.

Тося укрыла ее одеялом, улыбнулась, удивляясь иронии жизни, как такая красота охламону досталась?

Войну Грач встретил в лагере. Сидел третий год – за пьяную поножовщину...

Пока служил в армии, отец и мать в одно-часье умерли. Мать пережила отца на два дня. Приехал Грач по телеграмме, схоронил родителей и вернулся дослу-живать. Демобилизовали его в тридцать восьмом.

По-ставив чемодан на ступеньку лестницы, долго стоял в дверях пустой квартиры, слушал тишину и дрожал ли-цом. Потом запил. Неделю и побыл дома...

Как оказал-ся в его руке нож и чей он был, Грач не помнил. Ос-талось в памяти перекошенное лицо какого-то парня, жуткие крики людей и боль в плече, когда выламывали ему руку подоспевшие милиционеры.

Приговор выслушал спокойно. Пять лет за драку и причинение тяжелого ранения. Грач фамилию парня не запомнил, был как во сне. В лагере затосковал, но потом привык и освоился. В «рабах» ходить отказался, за что его чуть не прирезали блатные, но отступились. «Купил» их Грач игрой на гитаре с бесшабашными песнями московских окраин.

У крыльца метлу и ведра складывал, когда к бараку подбежал Ефимка Тушинов, домушник по кличке Тушканчик, истошно заорал, что началась война. Грач выслушал, пнул метлу и сел на ступеньку покурить-подумать. На окружающих внимания не обра-щал, накурившись, чинарик в ладони размял и в спе-циальный мешочек табачную крошку ссыпал.

У Грача через лоб челка косая, глаза зеленые, го-лова хромой машинкой ступенями выстрижена, соглас-но лагерным правилам...

Вот этой челкой косой да глазами зелеными, он ровно через десять минут перед началь-ником лагеря нарисовался. С ним три пятых осуж-денных на плацу стихийно выстроилось. Начальник при-бежавший отдышаться не может: «Что за митинг? По-чему собрались?»

Алешка Грач делегатом представился. Говорить складно умел, потому его и отрядили. Вышел Грач, слова в уме повторил, и заплакал неожиданно. Только и смог выговорить, что, мол, кровью искупить хотят вину перед Родиной. Начальник лагеря молча выслушал, кивнул и ушел. Некоторое время их в неведении держали, а потом...

Потом Грач в заваруху попал. Весь штрафбат, где ему начинать пришлось, под безымянной высотой остал-ся. Восемь раз Грач в рукопашной свою челове-ческую пригодность доказывал. Красными каплями по камням кропил, вину перед Отечеством смывал.

В той заварухе ему рот штыком порвали, длинный шрам остался, и руку прострелили в мякоти – это по-везло. Шрам на лице долго не заживал, гноился и сви-щами прорывался.

Из тех атак на высоту, их восемь человек осталось. Тушканчику грудь навывлет, красными пузырями харкал, когда его Грач после боя в медсанбат поволок. Хрипит Ефимка несуразное, сгоряча блатные песни петь наладился, потом примолк. Остановился Грач, а Ефимка затосковал лицом, улыбку с губ согнал.

– Грач, а вот мы им, знай лефортовскую шпану! Грач, я помру?

– Я те помру, – сипит Алешка, дух переводит, – только попробуй.

– Худо чего, Грач?

Не дотацил Грач Ефимку. Закричал он тонко, сполз со спины, в руку Алешкину вцепился и жалобно смот-рит. Потом из горла толстенную алую струю выбросил, белей бумаги стал и затих. Грач рядом плюхнулся, рукой Ефимке рот зажимает, да разве такую лавину крови удержишь? Только перепачкался весь.

За ранение и храбрость сняли с Грача судимость, пе-ревели в часть обычную, регулярную. Воевал он истово и жестоко. Потом пропал. Одни говорили, что его из дивизии в «дальний поиск» отправили, другие, что он к немцам ушел.

Знали о том, где Грач, двое в штатском, что дней пять были в штабе дивизии. Один немой – здоровый бугай, все Алешку выпрашивал.

Напишет на бумажке вопросы, где сидел, как сидел, за что сидел и многое другое. И смотрит по губам, счи-тывает ответы.

Другой, старичок, тот больше с Гра-чом на политические темы беседовал. Но это для от-вода глаз, хитроват был. Разговаривали они с Грачом, разговаривали, да все разом и исчезли.

Машина тормозами скрипнула, качнулась и вста-ла.

До города километра два оставалось. Генерал напух-шие веки приподнял, смотрит.

Полицай молодой к машине идет, косая челка из-под грязной пилотки мотается. Другой, здоровенный верзила с тупой рожей, за веревку шлагбаума держит-ся. И третий, старичок, на другой стороне дороги с но-ги на ногу переминается.

Генерал досадливо поморщился, веки сомкнул, чув-ствует, как качнуло машину – это адъютант выпрыгнул, стал на полицаев орать. Сон наваливался волнообразно, и генерал пытался справиться с ним.

Сквозь дрему думал с досадой, что понаставили ду-раков при въезде в город, и какую он головомойку устроит коменданту. Какие тут партизаны, когда до ли-нии фронта надо самолетом лететь? Был отряд, но его до Нового года в болотах утопили. Рядом охран-ник сопит, от него луком несет, генерал брезгливо гу-бами дернул.

Сухо выстрел щелкнул. Генерал голову вскинул – охранник ему в колено ничком ткнулся, из виска черное течет. Не успел генерал сообразить, как второй выстрел – шофер о баранку головой с тупым стуком. А дальше соображать было некогда – генерала из маши-ны выдернули.

Потянулся он к кобуре лаковой, да молодой, с косой челкой, его по шее так треснул, что фуражка с тульей высокой, виляя, по дороге покати-лась. Мо-лодой пистолетик генеральский с перламутровой руч-кой из кобуры вынул, и в карман.

Адъютант посреди дороги лежит, ноги широко рас-кинул. Генерал руку поднял, что-то от-рывисто и гневно произнес, но подошедший верзила его вокруг себя развернул и к кустам подтолкнул. Уперся генерал и... Такого пинка и во сне не бы-вает! Генерал тевтонским носом в землю шварк! Очки потерял, поскулил тошно, и пошел. На верзилу оглянулся. Тот ему кулак показал.

Объявился Грач на Журавлевке через три месяца после окончания войны. Челка та же, косая, только бе-лая. На груди Золотая Звезда.

Вроде здоровый мужик, только замечали, что нет-нет, а сморщится Алешка, словно боль его точит. Постоит, сжав зубы, побелеет скулами и дальше... Соседка од-нажды увидела, когда Грач, по пояс голый, на лестни-це перегоревшую пробку менял, и ахнула – у Алешки живот в шрамах, на левом боку кожа рубцами стя-нута, клочок вырван с блюдце, не меньше! Ахнула и по-бежала рассказывать.

Что ни вечер стоит у подъезда – руки в карманах, са-поги сияют, смотреться можно. Насмешливо вокруг по-глядывает, насвистывает, а то и напевать блатное нач-нет. Пропоет несколько, и из кармана сигареты с золо-тым обрезаем тянет. Фасонисто закуривает.

Где был, что делал, как воевал, что видел – про это у него спраши-вать не надо. Наврет с три короба. И что ордена-медали ему за спасение интендантского склада от дивер-сантов дали! И Звезду Героя ему сам маршал вручал... Плетет, невесть, что. Спрашивать перестали, потому что поняли, Грач – это могила. Ему легче соврать, чем про дела свои рассказывать...

– Чего не здороваешься?

– Наше, с кисточкой...

– Все куришь? Ну-ну.

Грач усмехается, на Вадима Петровича Крючкова вприщур смотрит. У него к Вадиму Петровичу чувство двоякое. С одной стороны, жалко человека, серд-це у него, того гляди... А с другой, что-то это «того гля-ди» затянулось! И доверия не внушает – это Грач нутром чувствует.

Давным-давно, когда Грач еще грачонком был, на-шел он в лесу земляничину. Гигант, не ягода, раскусил и... С тех пор землянику ли, клубнику ли, есть не может. В этой ягоде улитка громадная оказалась. Ее и разжевал Грач, прежде чем сообразил вынуть изо рта ягоду странного вкуса.

Крючков напоминал ему тот случай.

Вадим Петрович на скамейку сел, дышит трудно. Го-лову откинул, похватал воздуха немного, пришел в се-бя, улыбается:

– Умру я скоро, Алеша, прошлой ночью так прихватило, еле до кухни дошел, надо лекарство запивать, а тут... Все думаю, амба.

Грач деликатно в кулак покашлял, что отвечать, не знает. Сам Алешка в своих хворобах и родной мате-ри, была бы жива, не признался бы. Свищ в животе зажил едва, и опять в том месте покраснение, как бы

не прорвало. Вот оно, болото ржавое сказалось! И рана-то была, пустяк сущий, грязь попала. Еле отходили, весь живот искромсали... Бок – это потом, когда в Бер-лине архивами занимался...

– Грач, за что Героя получил?

– Случайно.

– Врешь! Случайно можно по морде схлопотать, а Героя – это за большой вред фашистам. Ты, видать, отчаянный мужик, недаром в лагерях мыкался.

Грачу про это вспоминать неприятно. Стыд давно на войне кровью испытил.

– Грач, а в лагерях бьют? – Вадим Петро-вич засмеялся. – Поди, лупят чем попало, а кто не работает, тех в мешок каменный, а? Чего молчишь, не хочешь, не говори.

– Это по человеку судят. Иногда и убивают.

– Слышал, Рокотов приехал, Мишка. С девкой, или с бабой, черт их разберет, но ничего ППЖ.

Грач быстро и внимательно посмотрел на Вадима Петровича.

– Крючков, походных и полевых жен у нас не было, понял? Фронтовые подружки – это да, мы с ними войну поровну делили, а иногда они побольше нашего хлебали, – и, бледнея, шепотом добавил, – еще услышу, гад, хрип порву! Я бан-дит уголовный, срок сидел, и за тебя отсичу. За-помни.

Повернулся Грач и ушел.

А Вадим Петрович тихо посмеялся. Знал бы Герой, что правая рука у Крюčkова минуты три гладкий спуск «Вальтера» в кармане щупает. Чем-то его Грач раздражал, а чем – не поймет Вадим Петрович. Потому и пристаёт при встречах с вопросами, не проходит мимо.

Один охранник лежал на мостовой, возле машины. Другой, раненный в руку и живот, стоял на одном ко-ле-не, нелепо вытянув другую ногу в сторону, опустив го-лову вниз, стонал. Хлестнул еще выстрел, старичок-инкассатор, взмахнув брезентовыми мешками, опроки-нулся на спину...

Взревел мотор, машина, едва не ударившись бор-том об угол дома, визжа колесами по асфальту, скры-лась в переулке. Кричали люди. Из дверей сберкасы выбежали два милиционера, на ходу вытаскивая оружие, заметались около маши-ны инкассатора, разом засвистели в свистки. Собра-лась огромная толпа.

Файзулла, сжавшись в комок, размазывая по лицу слезы ужаса, тыкал в спину шофера, что-то кричал. Шо-фер крутил баранку, сцепив зубы, нагнув лобастую голову.

На заднем сиденья хрипели, пытаясь отдышаться, Вадим Петрович и уголовник по кличке Кабан, кряжис-тый малый с маленькой головой кретина.

Через сорок минут были за городом.

Не доезжая станции, шофер круто свернул, на недоуменный взгляд Файзуллы только оскалился.

Машину загнали во двор. Закрыли ворота. Дом был старый, полуразвалившийся, но в нем, судя по некото-рым признакам, бывали люди.

Сидели за столом, пили, понемногу оттаивая после происшедшего. Припасы достал шофер из багажника, мимоходом буркнув, что расходы пополам. Файзулла пил водку мелкими глотками, живал хлеб, мутно поглядывал вокруг от пережитого страха.

Вадим Петрович пытался улыбаться, но у него жал подбородок, и он то и дело придерживал его дрожащими руками.

Равнодушный шофер, сильный и злой мужик, трудился над большим куском вареного мяса, облизывал пальцы, испачканные в жиру, по-волчьи, не жуя, глотал. Только Кабан был радостно возбужден, пил третий стакан, громко комментировал:

– Главное, баба выскочила оттудова, а? Визжит, а Вадька мешки, смотрю, поволок! Ну, думаю, накрылись! Вадька прыг, я за ним. – Кабан ткнул пальцем в шофера. – Этот по газам, по газам! А теперь жрет, гляди, не подавится!

Кабан визгливо захохотал, откинувшись на стул, за-качался на нем, высоко задирая колени, упираясь по-дошвами в ножку стола.

– Заткнись, – поднял голову от стола шофер, внимательно осмотрел Кабана, подумал и добавил, – психуешь, в морду хо-чешь?

– Чего? – Кабан удивленно присвистнул, перестал качаться, поставил недопитый стакан с водкой на стол, хищно пригнулся. – Кому в морду?

– Тебе, кому, не психуй! Разорался.

– Хватит! – Вадим Петрович стукнул кулаком по столу. – Сядь, Кабан! Чтoб с этой хаты дня четыре ни ногой. Ты, Файзулла, всю бодягу с продуктами долой, что у Марковны осталось, пусть ее будет, понял?

– Петрович! – опешил Файзулла. – Там тушенки двадцать ящиков, икра, колбаса, масла бидон.

– Брось! – жестко глянул на него Вадим Петро-вич. – Ты, думаю, затоварился неплохо, на век хватит?

Он повернулся к шоферу, долго одобрительно смотрел в его равнодушное, рубленое морщинами лицо, потом улыбнулся:

– Ты, мужик, номера не забудь снять. Машину отгони, и сюда своим ходом, как придешь, доля твоя отстегнется.

– Доля моя сейчас.

Шофер поставил локти на стол и, уперев на ладони лобастую голову, смотрел спокойно и тяжело.

– Не доверяешь? – ухмыльнулся Вадим Петрович.

– Я тебя не знаю, я с ним, – кивок на Файзулу, – договаривался. Его ответ, а ты для меня ноль, личность темная, с тобой говорить – смысла нет.

– Зря, – задумчиво сказал Вадим Петрович. – Очень зря.

– Петрович! – позвал тихо Файзулла. – Он нормальный парень.

Шофер улыбнулся.

– Меня защищать не надо. Я сам могу, понял? Сказано, доля здесь, сейчас. Я свое дело сделал! Больше вас знать не хочу. Без машины вы никуда.

– Завоешь с вами, – устало сказал Вадим Петро-вич. – Так ты езжай домой, а? Приедешь, тогда мы с тобой все и поделим, доля не убежит. Ну, что смотришь-то?

– Сказано, здесь, – шофер упрямо мотнул головой.

– Вот человек, ему все сразу! Ну, давай мешки.

Вадим Петрович откинулся к стене, прикрыл глаза.

Шофер секунду настороженно смотрел на него, потом встал, прошел к кровати, на которой лежали два туго набитых, инкассаторских мешка. Резко обернулся – Вадим Петрович сидел с закрытыми глазами. Файзулла смотрел в пол. Шофер повернулся, нагнулся к мешкам.

Выстрел грохнул в маленьком пространстве комна-ты оглушительно. Шофер прыгнул в сторону, попытал-ся обернуться, и ничком сунулся в пол.

Первым опомнился Кабан, с криком сорвался со стула, пинал неподвижное тело.

– На тебе, на, скажи спасибо, что только так тебя, я б в куски месил!

– Заткнись!

Кабан, опасливо покосившись на Вадима Петровича, сел к столу.

– Сходи, посмотри, – повернулся Вадим Петрович к Файзулле. – Дом вроде в стороне, но мало ли...

Файзулла, не сводя глаз с лежащего на столе писто-лета, медленно попятился к двери, быстро прикрыл ее собой. Выйдя на крыльцо, он с облегчением вздохнул и потянулся, четко знал, что его очередь не пришла.

Заветная коробочка с камешками была у него. Ко-робочка с долей Вадима Петровича, считанные камешки, на стоимость каждого из них можно было построить двухэтажный особняк. И границу ему одному не перей-ти. А у Файзуллы были ниточки, за которые можно было потянуть, и в дамки! Вдвоем веселее. А уж там, за границей, Файзулла не промахнется,

Он обошел дом, внимательно огля-делся – все спокойно. Постоял у ворот, приоткрыв ка-литку, посмотрел на проулок, чисто. Вернулся в дом.

Три большие кучи денег лежали на столе.

Кабан счастливо жмурился, трогал новенькие пач-ки, то и дело подливал себе водки, глотал громко и противно. Вадим Петрович сидел, неподвижно обхва-тив голову руками, видно, болел проклятый затылок, он в последнее время досаждал изрядно. Файзулла присел осторожно к столу, налил себе водки, морщась, выпил.

– Что с ними делать будешь? – Файзулла кивнул на деньги.

– Я найду чего, я найду! – счастливо засмеялся Кабан. – Я в теплые края махну, вот чего! В Москве меня обыскались, мне нельзя здесь. Раз подхожу к дому, а из-за угла чистенький идет, ментяра с виду! Я шамальнул и ходу, пока они там нюхались, меня нет. Понял?

– Что ж ты про это раньше не рассказал? – сокрушенно вздохнул Вадим Петрович.

У Файзуллы медленно и страшно расширились зрач-ки, он хотел что-то сказать, но осекся, наткнувшись на пристальный взгляд Крючкова.

– Это ты, брат, зря, надо было рассказать, мало ли чего? Тебя по всей Москве шарят, а мы с тобой дело имеем.

– Я их сам рвать буду! Меня под «вышку» просто так не сунут! Чего ты?

Кабан, не шевелясь, смотрел в черный «глаз» писто-лета. Хрящеватые уши его двигались сами собой, он взмок и, растерянно улыбаясь, вытирал пот с лица и шеи ладонями.

– Ты чего, я тебе чего плохое, да?

– Плохое, брат, очень плохое. Встань, отойди вон туда.

– Ты деньги возьми, слышь? Мне не надо! Я себе накнокаю, если чего, ты их бери.

Кабан мелко отступал к стене, оперся рукой о выступ печки, икал со страха. Вместе с выстрелом он тонко завизжал, но тут же захлебнулся, выгнулся, и ударился об пол, затих.

– Ну, вот.

– Теперь, моя очередь, Петрович, – неожиданно спокойно сказал Файзулла.

Вадим Петрович вылил из стакана водку на ладонь, сильно растер руки, стряхнул, только после этого повернул к Файзулле потемневшее лицо.

– Дурак ты. Мы с тобой отсюда вместе уйдем. Шо-фер жадный был, с такими опасно, а этого придурка я не шлепни, так «уголовка» загребет. Он бы нас заложил за милую душу. Так что расклад верный, думаю... День-ги спрячешь, потом разделим. И мне лишнего не надо! Скоро в дорогу дальнюю, а ее нам вместе топать? Так?

– Так.

Файзулла кивнул. Он испытывал непреодолимое желание всадить нож под этот сытый подбородок, поэто-му, чтобы не выдать глазами сокровенное, отвернулся, стал сметать со стола крошки. Вадим Петрович чуть заметно улыбнулся.

В полуподвальную комнату человек пятнадцать на-бились.

Всем хотелось живого Мишку Рокотова посмотре-ть и пощупать. Женщины его непременно целовали, по вихрам трепали и, конечно же, плакали. Мужики за руку здоровались, а потом, как сговорившись, по спине бух да бух! У Мишки от этих буханий спина онеме-ла, а они все не кончаются.

С Фаечкой немного настороженно здоровались, ог-лядывали украдкой. Сапожник Нефедов, у которого трое сыновей погибли, дочь, без вести пропавшая, попробо-вал с расспросами приставать, кем она Мишке приходится, но Максимовна его с ходу к Старика Туман-ову пересадила.

К столу, кто что мог, тот и принес. Бронька опять всех удивила, такой пирог смастерила, умереть – не встать! Сверху он американским джемом обмазан, внутри сгущенное молоко с яблоками, а в середине горка из толченых орехов. И где орехи, такое чудо, раздо-была, уму непостижимо!

Мишка за погибших на этой войне душевный тост сказал. Выпили стоя. Фаечка во все стороны глазами постреливает, кудряшки на висках толк-толк. Помалкивает, изредка «спасибо» выронит, это когда Пенкин, взявшийся за ее тарелкой следить, чего-нибудь положит.

Плакали на Нефедова, он тоже речь сказать хотел, про сынов погибших, танкистов сгоревших, про дочь Полю, которую все ждал и ждал. Речь не вышла. Нефедов слова какие-то проямлил, потом на стул упал, стопка в руке трясется, губы трясутся, и... отвернулся, рукавом закрылся.

Митенька-почтальон Нефедову кивает. Ему водки не дали, а вот студня целую тарелку навалили. Митенька студень ест, всем улыбается, кивает согласно. Забыл убогий, что похоронку на Полю Нефедову он под кустами давно закопал...

Пенкин чуть не внес сумятицу в только-только наладившееся веселье. Показалось ему, что Алешка Грач на Тосю заглядывается, повышенное внимание ей оказыва-ет. Стал следить, а как Грач, с Тосей чокаясь, еще губами поцелуй изобразил, тут Пенкин костыли подвинул и встал. Подтянулся па костылях и тихо сквозь зубы Грачу:

– Ну-ка, ты! – щека у Пенкина прыгает. – Пойдем, покурим, ну?

Старик Туманков сноху в бок, мычит, рот студнем забит, на Пенкина головой кивает. Тося косые взгляды Пенкина давно уловила. Сначала посмеивалась, все-та-ки лестно, когда мужик ревнует, а потом на скулы ка-менные глянула, на глаза Пенкина, и испугалась.

Пенкина всем столом на место усаживали, хохочущего Грача на другой конец стола пересадили, к Броньке. Грач Броньку оглядел, хмыкнул и петухом взвился.

– Винегрету?

– Спасибо.

– Тарелочку! Вот, теперь порядок. Платье сами шили?

– Сама, кто ж еще.

– Шикарный вырез. Бусы лежат – это хорошо.

– Что?

– Говорю, когда бусы на груди у женщины не ви-сят, а лежат – это хорошо. Почему на «вы»? На «ты» идет?

– Идет.

– Итак, – Грач откинулся на спинку стула. – От вас, как я слышал, муж ушел?

– Плохо слышали, это я от него ушла.

– Какая разница? От меня жена никогда не уйдет. Она меня ревновать по-черному будет.

Бронька повернула красивую голову, чуть усмехну-лась.

– Это почему же?

– Секрет знаю.

– Видали? – Бронька плечами презрительно пожала. – Теперь вы распутушитесь, фрон-товички, нас на каждого из вас по десятку. А толку?

– Тебе, какой толк нужен? – Грач придвинулся, жарко в ухо Броньке дышит. – Ты про любовь-то слыхала, с чем ее едят?

– Говоришь, любовь... Товарищи, минуто!

Бронь-ка из-за стола выскочила, кинулась к своей сумке, ко-пается.

– Я сейчас! Господи, где же? Слушай-те, что лунатик мой бывший про любовь пишет! Это он повесть начинал, я нашла, «Потрясение» называется, значит, так.

Бронька вышла на середину комнаты с толстой тет-радкой:

– «Он бежал в атаку и пел. Перед ним мелькало лицо любимой. Улыбалось оно ему ласково, родные глаза прямо в душу смотрели. Волосы ее пахли резедой, и Павел почувствовал запах резеды. Он перепрыгнул через воронку от крупнокалиберного снаряда, пере-бросил автомат из руки в руку...»

– Чего? – вскинулся Грач. – Ловко, как яблоко.

– «...из руки в руку». Некоторых попрошу не ме-шать! «...и побегал. Беспощадная ненависть к врагу стучала в его сердце. Он крикнул: «Гады, за отчий дом, за тебя, любимая!» и кинул гранату. Все сильнее пыла-ла в его сердце любовь. Призывала бить и бить ненавистного врага, фашистскую свору...» Все, больше не могу.

Бронька плюхнулась на стул, тетрадку не-брежно бросила рядом с тарелкой со студнем.

– Чего она? – обеспокоился Нефедов. – Написал мужик красиво.

Грач скатерть задумчиво гладит:

– Попадет такая пакость куда-нибудь, и напечатают, а? Потом дети читать будут, вот, мол, свидетель живой войны.

– Не был он в атаке, – Мишка Рокотов по столу кулаком грохнул, опомнился и Фаечке виновато улыбнулся. – На войне убивать надо, там лиц любимых не мелькает.

Отодвинул Грач стул, кивнул всем и вышел.

Бронь-ка вечер молча просидела, то и дело, на дверь оглядывалась, а как уйти, расплакалась. Долго ее успокаивали, Тося за валерьянкой сбегала.

Невесело вечер кончился.

Максимовна в недоумении. Дождалась, когда Фаечка вышла, и к Мишке:

– Мишка, стелить-то где, вместе, ай как?

Побагровел Мишка, на мать не смотрит, гимнастерку на стуле распялил. И так повесит, и так, не нравится, снова перевешивает. Максимовна растерялась, стоит столбом среди комнаты, на сына удивляется.

– Мишка, ты что ж, не живете, что ли? – пытливо всматривается. – С ней-то, не живете?

– Мамка! – прокуренным басом Мишка взорвался. – Чего присталато? Товарищ она, ясно? Невеста.

– Караул, – Максимовна шепотом. – Губошлеп, ирод ты мой! Невеста? Выходит, и не было ничего про-меж вас? Как же ты воевал, господи, это ж с ума спятить можно? Ты хоть знаешь, что и откуда растет-то? Ушел телок, пришел телок, какие бабы на свете, не знает... У нее-то до тебя был кто, Миньк? – встрепенулась.

– Чего городишь? – Мишка с перепугу в сапо-ге запутался. – Чего городишь? Был, не был, какая разница? Мы записываться будем, в ЗАГС пойдем завтра.

Максимовна пригорюнилась.

– Разница ему... На полу ляжешь, я те дам, разни-ца! Она на кровати, я на сундуке, все, – решительно рукой рубанула.

Фаечка в комнату вошла, хитрющими глазами по-стельный расклад сразу высмотрела. Спокойно подошла к кровати и одеяло с подушкой па пол переложила.

Максимовна совсем растерялась. С сундука тряпки бестолково на пол сваливает и опять их на сундук накладывает. Мишка усиленно в

окно смотрит, у самого шея кумачом налита. Так выгнулся, что чуть ее не свернул.

– Чего я забыла? – Максимовна озабоченно. – Пойду к Клавке Самохиной, просила она меня порточ-ки малому прострочить. Может, заночевать там, а? Комната одна у них пустая, Сашка-то в ночь.

Фаечка через голову гимнастерку тянет. Максимовна на нее покосилась, и успела углядеть, как зубы белые сверкнули в улыбке. Максимовна ни жива, ни мертва. Батюшки, облапошила моего ирода-то! Что делать?

– Иди, мамка, – Мишка буркнул, не поворачи-ваясь.

Максимовна толкнула дверь, вышла, долго в пролете лестничном на темноту тарачилась. Потом всплакнула и пошла к Клавке, жаловаться.

За четыре года опалила война Мишкину душу, вы-сушив не только тело, но и присущую его возрасту суету и легкомысленность. Девятнадцатилетним парнем прошел он ее суровую школу.

Память хранила много: челове-ческие крики в горящих, как дрова, танках; вмерзшие в лед и снег полураздетые тела; дорожные указатели из поставленных стоймя трупов с руками-стрелками; запах пепелища с развалившейся трубой, разбросанными ис-тлевшими вещами, куклами без волос, детскими кар-тинками; полет человеческого тела, брошенного в воздух могучим фугасом; горечь потери друзей и неистовое торжество над поверженным врагом...

Не было в его памяти самых обыденных вещей – женской нежности, ласковой теплоты слов любви, немудреных, бесхитростных и желанных.... Да и кто сказал, что это вещи обыденные?

Как бы то ни было, но он в первый раз в жизни остался с женщиной наедине.

Мишка не понимал, что шепчет ему Фаечка, просто в его молодом, но уже суровом сердце, словно отта-ивала глыба скопившегося в лютом холоде льда, текли неспешные ручьи, наполняя тело сладкой тревогой, не-вероятной нежностью и истомой. У Мишки кружилась голова, и хотелось, как в детстве, спрятаться лицом в спа-сительные ладони, выкрикивая с неистойвой верой и на-деждой: «Меня нет!»

– Миленький! Родненький ты мой! Мишенька... Ты мой, да? Если пропадешь, я умру, слы-шишь?

– Я все-все слышу. Знаешь, как тебя ждал?

Тянулась ночь бесконечно. И учились они, лю-ди, постигшие науку убивать, самой простой и непос-тижимой от сотворения мира науке, любви.

Максимовна ночь на раскладушке провороча-лась. Утром в свою комнату первый раз в жизни посту-чалась. Никого. Вошла, впопыхах чуть ключ в замке не сломала. Огляделась: все прибрано, даже пол выме-тен. На столе записка, ну-ка, чего они там? «Мама, скоро будем, пошли в одно место».

«В одно место». Максимовна без сил на стул рухну-ла, заплакала в голос. Но быстро вспомнила про то, самое главное, что на раскладушке за ночь выдумала... «У вас свое, значит, место, а я... Куда они ее за-девали-то? Мудрят, ироды!»

Второпях лбом о шар металлический, красу и гордость старинной кровати. Это она, хитра, ох, хитра! По фронтам-то наостри-лась, видать... Наметанным глазом по комнате зашарила, за сундуком нет, в тазу нет, в шкафу разве? Нет, господи, куда они ее пихнули? Белье нестиранное в наволоч-ке – тоже нет!

Взгляд Максимовны на вещевого мешок Фаечки упал. Покружила она, себя подразнила и не выдержала, трясущимися руками тесемку развязывать стала.

«Сюда простыню затырила, точно!» – ту-го завязано.

«Ну-ка, мы эти штучки знаем, потом, что ни говори... В старину как, сначала на утро смотр делать, потом гостей допаивать, и позора на родителей, на невесту не дадут, если все, как надо...»

Развернула Максимовна смятую простынь и...

– Голубка ты моя, ластонька! Девчонушка моя не-наглядная! Сберегла честь для оболтуса. Отец, отец, Костя! Сынок-то, сынок нам жену привез, Фаечку!

Упала на пол, сгребла простынь в комок, к щеке прижала, и, счастли-выми слезами умываясь, на портрет мужа смот-рит. Теперь верила она свято, что слышит он ее из да-лека-далека, слышит, и вместе с ней радуется глупо-му, может, но бабьему счастью, что все по-людски, все, как надо, и мы не хуже, и мы живем.

И стала Максимовна внуков ждать.

Пенкин, Пашка и Кешка затеяли из доски строгать пистолеты. Шум подняли – ужас. Сначала долго вы-таскивали из пашкиного грязного пальца занозу. Паш-ка блажил, лягался и мотал головой. Нашли йод, и

тут же разлили его по полу. Злорадный Кешка сначала сбе-гал наябедничать деду, потом полез за тряпкой.

По дороге он развеял в пыль дедову чашку, за что зарабо-тал от Пенкина «леща». Потом Пенкин держал Пашку, а Кешка, высунув язык и, садистски улыбаясь, лил йод на ранку.

На крик пришаркал Старик, качал головой, жевал губами и укоризненно хмыкал. Увидел чашку, вернее, то, что от нее осталось, и разорался. Но чашки не вер-нешь, поэтому осколки вымели, ранку продезинфицировали, а Старик ушел дремать, погрозив всем ку-лаком.

Пенкин строгал, Пашка и Кешка стояли напротив, вы-сунув языки, голова к голове, встревали с советами.

– В ручке надо дырку сделать, обойму совать. А «Вальтер» как бьет? Насквозь всего, или не шибко?

– Погоди, дурак, сперва надо мушку сделать. Кешка, черт, не пихайся! У Серого во дворе с мушкой, ему отец сделал. А с винтовки через все поле летит?

– Дядь Жор, ты его не слушай, у тебя все равно лучше.

– Сафрониха сказала, дядь Жор, тебе ногу из железки сделают, на нее можно сапог или валенок оде-вать. А как тебе ее прикрепят, пришьют, что ли? Где их делают, ноги железные?

Тося через широкую дверную щель смотрит: Пенкин двойняшек между костылем и ногой зажал, попеременно то одного, то другого в носы чмокает. Они дрыгаются, но не сильно. Правда, от нетерпе-ния скорее пистолет заполучить и на лютой стрельбе его испробовать то и дело косятся на стол, где писто-лет этот самый лежит. Выстругано «оружие» аккуратно, обожжено и, для пущей важности, покрыто лаком.

– А чего ты с мамкой не женишься? Нам тетя Броня говорит, не слушаемся, от этого ты нам не папка.

– Правильно говорит. – Пенкин с одного веснушчатого лица на другое глаза переводит. – Если б еще убирали за собой, а то за вами мать с дедом ходят.

Пенкин, через дверную щель Тосю увидел. Перепугался, двойняшек с кухни турнул, руками по карманам шарит – курево спасительное.

– Ты сядь! Ну, вот... Погоди, так сразу-то не полу-чится, а? Папиросы сырые, глянь, расплзаются... Так вот, Тосенька, уезжаю.

– Что?

– Не клеится у нас, вот чего. Помолчи, я эти слова всю ночь обдумывал. Люблю тебя смертно, и нет таких слов, чтоб я это в

точности описать мог. Но, не дойдут они до тебя – все, амба. Вот и получается, что один выход, надо мне ехать. К детям привык, они тоже ко мне прикипели.

– Жорка, они скучать будут.

– Кому сказать, не поверят, что у нас с тобой и не было ничего. Мужик в доме... Смехота, говорю, одна. Ладно.

Пенкин положил руку на Тосино плечо, легонько сжал, смотрел ей в глаза грустно и сильно как-то. От этого у Тоси голова закружилась.

– Тосенька, девочка моя фартовая, дед вон влиять на тебя собрался, а я не разрешил. Если не лежит душа, что ж... Нога – это левое, мне в фут-бол не играть. Учиться пойду в Литературный институт, а билет взял на послезавтра. Ты ребятишкам не говори, только Старик, он и проводит потихоньку. Пацанам рогатки сделал, ты их не выбрасывай, ага? Слышишь?

– Слышу...

– До лета в Туле поживу, у друга, списался с ним. Потом в институт, а там общага, как положено. Так-то вот, Тосенька, такие дела, ну, чего молчишь?

– Я молчу... Я очень молчу, Жорка! Так молчу, что... Дурак ты.

Встала и пошла с кухни. И остался Пенкин с разину-тым ртом, и незажженной папиросой, приклеенной к уголку нижней губы.

Ночью он опять в потолок смотрел, светлые капли от фар наплывающих выглядывал, прислушивался к звукам ночного города. Идут машины, и все мимо, мимо, мимо... И он, выходит, тоже мимо проехал. Потянуло теплом и счастьем неведомым, а так ничего, оказывает-ся и мимо – тоже хорошо. Вроде, прикоснулся к чему-то светлему, его теперь надолго вспоминать хватит.

Крутит Пенкин дырку в ветхой тельняшке, горечь от табака проклятого во рту копится.

Дверь скрипнула. У Пенкина испарина на лбу выступила – идет к не-му в ночном сумраке фигура тонкая, тихо плывет, под босой ногой пола не слышно, а половицам лет трид-цать, не меньше!

– Тоська! – Старик из темноты другой комнаты всполохнулся. – Чего ты?

– Спи, пап, спи.

Фигурка опять к двери на цы-почках, плотно ее прикрыла, ни щели, ни зазоринки. Будто ворота, только куда – в рай, ад ли?

...И пил Пенкин пригоршнями березовый настой-сок текучий... Вроде не ко времени, да береза сама знает, когда ей наливать, соком набухать. Пил, томясь всем наболевшим за годы сердцем, бродил по его крупным венам хмельной напиток, кидался в го-лову круженьем радостным. И не было этой жажде конца и края...

Утром Старик просунул в их комнату кудлатую голову.

Все внимательно разглядел, зашел, встал посреди, ехидно щурясь, тощий живот под майкой чешет. Губами пожевал и ближе просунулся.

– Ну и чего? – шепотом.

– Чего «чего»? – Пенкин на спящую Тосю покосил-ся, не разбудить бы.

– Зачевокал! Ботинки, говорю, шантрапе справлять надо, слякоть скоро.

– Ну и чего?

– Сбрэндил, что ли, на радостях-то? Ты теперь кто?

– Кто? – удивленно Пенкин брови поднял.

– Голова, вот кто! – разозлился Старик. – А рань-ше шалтай-болтай был, вот кто. Раз голова, ты и думай, я, может, помру скоро.

– Мы тебе не велим, да, Жорка? – Тося, не откры-вая глаз, тихо.

– «Велилка» нашлась, мои сверстники давно на кладбище с птичками беседуют.

– Скучно, пап. Ну их, птичек-то? – Тося хитро один глаз открыла.

– Тощать начал ты, дед, – в тон ей Пенкин сочув-ственно. – Это от вредного характера. Сначала харак-тер надо исправить, потом о душе думать.

– Тьфу ты, господи, ну вас к чертям! Я про дело, а им язык чесать. Жорка, ты Пашку выдери, он нынче целую банку тушенки с самой рани ухайдакал. Пока я в комнате был, а вы дрыхли, так он прибрал, триста граммов – это какую утробу надо иметь? Выдери беспременно, а ты, Тоська, накажи, чтобы с ними, дьяво-лами, Сонька на Язу не бегала. Утопнет девка. Мужик прошлый месяц утоп?

– Все вопросы, пап, к Пенкину. Ему поручи. Ой, мамочки, вставить неохота!

– Жорка, ты ей спать много не давай, от этого баба портится, в ней червь заводится. Точить будет.

– Кого, пап?

– Мужика точить будешь, кого. Вставай! Опять мне похлебку варить? Совсем заездили, все, уйду от вас, в сторожа пойду, там зарплата и чаевые.

– Это где ж? – Тося руки за голову закинула, тя-нется.

– В ресторане, где. – Старик с неодобрением смотрит. – О, потянулась, ишь, того гляди, кобылицей, заржет! Уйду, вот крест, уйду, там мундир да-дут с галунами, генералом стану. Вставайте, проклятые, не то водой окачу. Мало в доме двух басурманов и дев-ки несмышленной, еще и эти вывелись.

– И чего кричит, Жорка, чего он кричит-то? Кто в доме хозяин?

– Вот как? – Старик вытаращил глаза. – Забастую, будет вам хозяин-то, Жорка, пихни ее с кровати, чего скалишься? Ровно полтинник нашел, бес-толочь...

– Мам, а Паска с Кеской делутся!

– И эта пришла!

Крошечная Сонька протопала, с разбегу за руку Пенкина уцепилась, и в кровать между ними. Тося дочь в ухо чмокнула. Сонька смеется, в калач свернулась.

– Караул, встать неохота, так и лежала бы!

– Мам, свали кисель сладкий, ага?

– Дед сварит. Все, встаю, а ты лежи, доченька, с отцом лежи, ладно?

Пенкин побледнел, только хотел голову к Тосе по-вернуть, как она через него прыгнула, и босиком ушлепала в другую комнату. А Старик всей пятерней от затылка до подбородка провел, заморгал, но справился. Крякнул и пошел, дверь прикрыл тихо.

Вскоре оттуда рев Пашкин, Тосин смех и дедово ворчание – все разом.

Пенкин лежал, молча Сонькино личико разгля-дывал, словно в первый раз увидел, и веснушки, и рес-ницы длиннющие, и картошку носа маленького, и все в первый раз. И Соня на него, совсем по-новому, смотрела. Немного испуганно, чуть насмешливо и ласково. И то-же все разом.

Так не бывает? Еще как бывает. В жизни все разом случается, И смерть, и рождение, и радость, и беда – все разом приходит, короткая она, жизнь.

Что Пенкин и Тося зарегистрировались, Старик узнал последним, со злости плюнул, наорал, что они «шпионы, дураки и скрытники». И

уволокся куда-то за речку Хапиловку, где у него жил друг, а у него можно было разжиться вином за умеренную плату, тем более, что крепость этого вина, была выше государственного.

Гостей пригласили на субботу.

Алешка Грач на свадьбе больше всех суетился. Броньку умотал. Все со смеху умирали, когда он с ней «мазурку» начал выделять. Никакой мазуркой там и не пахло. Танец Грач на ходу выдумал. Ногами кренде-ля выписывает, а лицо каменное, не поймешь. Это, по его мнению, буржуи в таком танце жизнь свою про-жигали.

Бронька пробовала вырваться, чувствуя, как некая пуговка на спине, того гляди, отвалится. Но Грач ее так стиснул, что она только ойкала. Пуговка, наконец, отвалилась, и Бронька, вырвавшись, убежала.

В самом начале свадьбы Грач стакан граненый поднял:

– Тося и Жорка! В победный год решили вы жизнь соединить. Самую красивую женщину Москвы умыкнул – это я ему официально говорю. И выпьем мы за Пашку, Кешку и Соньку, что нашли они себе отца.

Выпил Грач стакан до дна, на свое место сел. Тося ему широко улыбнулась. Пенкин понимающе кивнул. А Старик тоста Грача не понял, обиделся люто, на ухо Нефедову жужжит.

– Старый, чего этот черт плел-то? Детям желает, а про молодых ни слова!

– Брось, про Жорку он говорит, мол, без выпендрежу парень, чего тебе еще? Тоську самой красивой в Москве назвал.

– Слепошарый ты! Это он на Тоську губищи распустил, – Старик отвернулся, по-сидел немного, застолье оглядел, и взревел жутко. – Горько, не идет, мать – честна! Ну-ка, ты! – Броньку за руку из-за стола тащит, пихает ее в бок, суетится. – Пляши, чего сидишь-то? Горько!

Милиционер Кривин сладко прищурился, взял гар-монь, растянул меха...

А Старик, неожиданно для окружающих, рявкнул такую соленую частушку, что все сначала опешили, а потом грохнули со смеху. Прямо покатались, до того смешным оказался испугавшийся собственной выходки, с открытым ртом и выпученными глазами Старик. Он махнул с досадой, и пошел на лестницу курить.

Несчастливая Бронька от Грача руками-ногами отби-валась. Он ее к потолку бросал, и вокруг себя вер-тел, и на руки поднимал. Плечами дергает и вскачь по комнате, а Бронька вокруг него бабочкой вьется.

Фаечка с милиционером «Рябину» на два голоса петь пытаются. Милиционер Кривин одно и то же выпева-ет – «...до самого тына» и все... Остальное забыл. А Фаечка на его завывания морщится и дальше песню ведет. Мишка на нее блаженно щурится, то и дело, что-то с плеча снимает, или руку под сто-лом гладит.

Максимовна не нарадуется, Любке Бу-киной весь бок протолкала, та даже заругалась. Муж ее, Димка, перебрал маленько, на спинку стула откинул-ся, дремлет, но сквозь сон ли, дрему ли, а улыбается.

А Бронька с Грача глаз не сводит. Тревожно смот-рит, немного жалобно. Ее муж, литератор беспутный, на другом конце стола сидит. Его из приличия Грач по поручению Пенкина пригласил, а он возьми, и приди! Рядом с генеральшей Михеевой оказался, пытался ей спьяна стихи читать.

Генеральша, дама деликат-ная, сначала хихикала, а когда вольный боец газетного фронта такое загнул, что даже у нее, к командному фольклору привыкшей, чуть парик с головы не слетел, отсела от литератора.

На другой конец стола перебра-лась, оттуда весь вечер на Вельского изумленно выглядывала.

Влюбилась Бронька в Грача мучительной и тревож-ной любовью женщины, обжегшейся семейной жизнью. А выяснилось это случайно, благодаря Вельскому.

Открыл Грач с руками мокрыми и мыльными, -холостяцкие постирушки устроил. Открыл дверь, и от удив-ления отступил назад, чуть на половой тряпке скольз-кой не упал. Стоит перед ним Иннокентий Вельский, при галстукe, богемная борода расчесана, в руках свертки, из кармана бутылка торчит, горлышко ее газетным свер-тышем заткнута.

– Можно? – Вельский ногу с форсом отставил.

– Ноги вытирай, а то полы мыл.

– Ноги мы вытрем, ноги – это пустяк! Я их так вытру, что все будет «гутен таг!».

Бормотал Вельский невразумительно, туманно, нога-ми о половую тряпку долго шаркал, а Грач смотрел изумленно. Сроду у него никаких дел с этим балаболкой быть не могло.

Грач мыльную пену с рук ополоснул, и в комнату. А Вельский закуску на столе разложил, ногу на ногу закинул, сидит – форс показывает. Брезгливо не-мудреную обстановку в комнате Грача осматривает. И чего ее смотреть-то? Буфет обшарпанный, кровать с тонким матрацем, стол, три стула и книги на подоконнике – все.

– Разговор будет мужской.

Вельский хмурится, божественной бородой дергает. Под-нял на Грача глаза, смотрит сурово.

– Ну, так что? – Грачу смешно, еле сдерживается.

– Не перебивать! Слушать внимательно, – Вельский переносицу потер. – Ты, Грач, правительственной наградой отмечен? Человек интеллигентный. Так вот, жена моя, Бронислава, от меня ушла.

– Сбежала, – сочувственно кивнул Грач.

– Чужая семья – потемки, имела несчастье, короче, если доходчиво, в тебя влюбиться, Грач, – с завыванием произнес Вельский, и Грач встревожено взгляделся в него. – Это она мне приватно вчера сказала, и еще ска-зала, что у вас взаимно. Я ее, Грач, знаю, что в го-лову вобьет, ничем не вышибешь. Бронислава тонкая женщина, она тебе не ровня, хоть и Ге-рой, наградами увешан, но ты на это не рассчитывай. Я, может, сегодня просто, а завтра кто? Кто я завтра, Грач?

– Кто ты, Кеша?

Ласково спросил Грач, разглядев, что литератор держится на чудовищном волевом усилии. Лыка не вяжет.

– Классик я! Повесть пишу, там правда о войне, вся как есть.

– Не «Сотрясение», случайно? – коротко осведо-мился Грач.

– Сотрясение в мозгах бывает, а повесть называ-ется «Потрясение».

– Ты, Кеша, больше не пей.

– Мое дело. Ты ей больше глаза не мозоль, понял? Мне без нее нельзя.

Вельский выпил полстакана водки, поморщился, по-мотал над закуской рукой, вздохнул, и не закусил. На-валившись на стол грудью, приблизил к Грачу измучен-ное, скукоженное лицо.

– Что ты ей дать можешь, а? Страдалица она, ясно, но брошу я, Алеша, пить брошу, я та-лантливый. Для вас я попугай, попка дурак! А

если у этого попки Бронька – все, что в жизни осталось? Приходят такие Герои, и бежит баба, куда глаза глядят. Грач! – Вельский иступленно смотрел Алешке в глаза. – Я тебя убью, Грач, возьму топор и по башке твоей героической тресну, что тогда?

– Тогда, Кеша, посадят тебя. – Подумал Грач и покачал головой. – Нет, расстреляют. Героев убивать нельзя, так что иди домой.

– Отлуплю! – взорвался Вельский. – Я отлуплю тебя, и всю морду побью!

Смешно Грачу, стыдно и грустно. Взял он литератора под локти, в карман недопитую бутылку сунул, в другой сверток с колбасой и повел к двери.

Дальше...

А дальше, как было, Максимовна бывшему боцману Карасеву рассказала.

– ...и бегу, ног не чую! Фаечке молока надо? Хоть и порошковое, все витамин. Дорого, а дочка все ж таки, Ну, вот, бегу, ног не чую. Только из-за угла, а они из подъезда. Тут лунатик разворачивается и Грача по уху хрясть, а потом он его оседлал и давай ему, как свинье, уши накручивать.

– Грачу? – изумился боцман.

– Зачем, Грач ему уши крутил, чтобы протрезвел, лунатик-то. А уж орал, писака-то наш, ну, думаю, стекла повывада-ют! Я Грача тащить, а он, не смотри, что сухой, здоро-вущий. Все, думаю, отвинтит он ему уши, быть суду.

– Кто ударил первый?

– Говорю тебе, лунатик.

Боцман насмешливо посмотрел на Максимовну, от-кашлялся.

– Ладно, мне до их дурацких дел дела нет. Замуж пойдешь?

Максимовна виновато улыбнулась. Сидела, поту-пившись, ботинки свои «фэзэушные» ботинки рассматривала. Потом тихо так говорит:

– Дети взрослые, Фаечка, может, забеременеет, кому глядеть за ребятишками-то?

Она жалобно, снизу смотрела на Карасева, то и де-ло поправляла выбивавшуюся из-под платка прядь во-лос.

– Зря ты так, – Карасев махнул рукой и пошел, у подъезда остановился, оглянулся. – Ключ там же. Кончай ты эту бодягу, Максимовна. Нам не по двадцать, и даже не по тридцать... Чего

сты-даться? Украли или долг не отдаем? Дети, они и так, при нас останутся. Ладно, я к сестре, а потом домой.

– А чего у нее, заболела, что ли?

– Племянник вернулся из плена, за-брали его. Сестра воет, а чего я могу? Может, проверят и отпустят... – он зашел в подъезд.

Максимовна с сомнением покачала головой.

Грач рядом с Митенькой на скамейку сел, руку почтальону пожал. Митенька Грачу рад, заулыбался, закивал, за плечи его трогает.

– Чего это ты, Митька, как майская роза цветешь?

– У Михеевой чай пил-пил, пил-пил, Митя мог лопнуть.

– С чем чай-то пил, с пирогами?

– С сухариком, потом с печенюшкой, – ласково протянул Митенька.

– Чай, говоришь? Могла бы еще чем угостить, ге-неральша твоя, а то с сухариком. И силен, ты, Мить-ка, видно, рубать? Ну, брат, молодец. И есть у меня к тебе одна просьба.

Грач огорченно брови выгоревшие свел, челкой мот-нул, на скуластое, худое лицо почтальона покосился.

– Мить, ты мне друг?

– Длуг, как зе, босой длуг. Вот какой! – почтальон руками развел.

– А раз друг, выручай, Митя. Сварил, понимаешь, борщ, а есть некому. Кастрюля целая борща этого. Боюсь, прокиснет, что делать будем, а?

– Беда! – почтальон не на шутку встревожился, к Грачу подвинулся, рот открыл, глазами хлопает. – Мяса есть?

– Не говори, Митька. Здоровущая кость с мозгом. – Грач кулак показал. – Что, брат, де-лать? Не знаю... Пропадет, прокиснет борщ-то, а ты вот сидишь тут, и другу помочь не можешь.

– Я? – на Митенькином лице отразилась борьба, он чуть не заплакал. – Мамка побьет меня, Глач, она сыбко лугается, када я кусать к людям хозу.

– Не скажем мы ей, Митька. Я – могила. Ну, ты мне друг? Выручай.

– Безым хлебать, Глач, плопадет болщ! – Митенька встал решительно.

У Митеньки живот «внутри выпуклый», как говорит Максимовна, но если надо – Митенька в него много чего уместить может, а ради друга – это еще больше. Тем более за Грача. Грач, он кто? «Он гелой всего ми-ла, у него такеенная звезда есть! Он всех влагов убивал-

убивал, устал дазе...» – вот так Митенька своим другом в районе хвастался.

Только собрались идти борщ выручать, им на-встречу через сквер «каравелла» плывет, форштемнем прямо на утес одинокий – Грача растерянного – пра-вит.

– Лунатик мой бывший у тебя был? Ну и что?

Бронька руки в бока, ноги на ширине плеч, грозно смотрит.

– Ничего.

Грач в глаза ее нырнул, скользнул взглядом по губам, мягким линиям шеи, оробел.

– У нас болщ плопадает, ты, Блонька. иди. Безым, Глач! – Митенька влез.

– Ты, Грач, не вздумай ничего в голову брать, по-нял? Он болтал, наверное, что я влюблена в те-бя, так? Ничего особенного, ясно?

– Совсем? – Грач перепугался.

– А ты, как хотел бы, чтобы не совсем?

– Пойдем мясу есть, ну ее. Она лугается всегда, ну ее, Глач!

Только Броньку знать надо. Бронька на весь свет одна бывает.

– Тоже борща хочу. С мясом. Женщина голодная с работы идет, при ней про борщи разговаривают – это как? Вы что же, от голодной женщины мясо в борще сквалыжить будете? Мужчины или нет, а ну, ведите, где борщ выдают!

И пошла.

И они за ней поплелись. Переглядываются два мужика – один растерянно и восхищенно головой качает, другой с обидой, Митенька и сам может с бор-щом как-нибудь, без помощников управиться.

Митенька вторую тарелку доедает, борщ – что надо, так что с него пот градом, бедный почтальон, то и дело, рукавом телогрейки утирается. Хлеб в солонку ис-тово макает, сначала соль языком слизнет, потом хлеб кусает, прожует и – ложка за ложкой! – поехала мельница.

Когда Грач здоровущую кость из кастрюли выволок и перед Митенькой на тарелке устроил, у него от восторга слезы выступили. Губы трубочкой сложил, на кость прищурился. Осторожно ее за горло, за то место, откуда толстым розовым шнуром мозг вы-ставился, и – хлюп! Горячий сок течет, Митенька ла-донь подставил, на Грача косится, во весь рот улыбается.

У Броньки с Алешкой едва по пять ложек убави-лось. Глаза поднять боятся, словно застыли разом. Бронька ложку медленно наклонит, глотнет неслышно, и так же медленно вниз несет.

Грач, словно кол про-глотил, слушает столовые звуки, сам не смотрит, очень сосредоточенно капусту в тарелке гоняет.

Не успел Митенька вторую тарелку освободить, с костью справиться, как Бронька ему:

– Господи, ты и не ел ничего! Тарелка пустая, а он сидит.

– Митька, я тебе погуще? Рубай, боец, ру-бай, пропадет борщ, беда.

– Беда... – согласно кивает Митенька, с опаской на новую полную тарелку смотрит, такая напасть сва-лилась.

Хотел отказаться от третьей, но не додумался. Шмыгнул носом, напрягся, и съел. Встал из-за стола, качается на слабых ногах. Блаженной улыбки, как и не было, вместо нее ухмылка редкой злорадности – не пропал борщ. Для верности в кастрюлю заглянул – пусто.

Бронька неверно поняла, так и вскинулась.

– Митенька, не наелся? Хозяин непутевый попался. Давай я тебе из своей тарелки добавлю.

У почтальона вместо скудных слов, то ли хрип, то ли мычанье вышло. С ужасом на Броньку по-смотрел, и из комнаты попятился. Хлопнул дверью вход-ной.

Бронька и Грач вдвоем остались.

– Голодный ушел, – вздохнула Бронька.

– Недоглядел, – и Грач вздыхает.

Бронька сидит за столом строгая. Руки перед собой странно положила, ладонями вверх. Грач смот-рел на ладони, смотрел, нагнулся и поцеловал одну, а другую свободной рукой накрыл. Другая рука в это время незаметно сердце придерживала – чуть не выско-чило, проклятое! Когда на Броньку глаза поднял, то ее глаза, полные слез, ему всю душу перевернули.

– Ты чего? – шепотом.

– Знаешь, Алешка, а мне никто вот так руку не целовал.

– Я еще могу! – уверил Грач растерянно.

– Сядь сюда.

Грач свой стул мгновенно к ее стулу подвинул. Бронька слезами умывается, и не поймешь – то ли смеется, то ли жалобное что-то выговаривает, слов-но защиты просит.

Шепчет Грачу на ухо, шепчет. Локоть его отпихнула, под руку пролезла, головой ему в подбородок уперлась, сидит там уютно. А как успокоилась немного, то с металлом в голосе сообщила:

– Сегодня перееду. А борщ без чеснока не варится. Понял? Надо его с салом истолочь и всыпать. Теперь я пойду. Ты посуду не мой, сиди здесь. Переживай событие, если сбежишь от невесты, то не-надолго. Ключ можешь не оставлять, я и так замок сломаю. Теперь ты от меня не запрешься.

– Чего ж я запираюсь буду? – удивился Грач.

– Мужики все такие... Тебе, Алешка, повезло, понял? Мужики все одинаковые, а я одна.

Встала Бронька быстро, чмокнула Грача куда-то за ухо, и ушла.

Грач недоуменно на дверь смотрит – была или по-казалось? Пошел к окну, долго бездумно стоял, смот-рел, потом на кровать лег и... уснул.

А когда проснулся, первым делом на часы – вскочил в ужасе. Три часа проспал, а ее все нет! Вот в этот момент и звонок тренькнул...

Перешла Бронька к Грачу в одном, платьишке и в босоножках.

Документы в руке держала. Грач ее за плечи взял, в губы поцеловал, потом ногой дверь в комнату пихнул, и жестом широким, мол, живи, владей, властвуй! Бронь-ка босоножки скинула, по комнате зашлепала.

– А грязища-то, мама родная! Значит, так, Алешка, у меня в жизни ничего не было, понял? Я вещи ему все отнесла, мне ничего не надо. И брать от него ничего не буду. Деньги у меня есть, это еще от мамы, куплю. Вот, какая есть, принимай. Босая девочка, разде-тая, шуб, колец, колье разных – нуль. Принимаешь?

Грач улыбается растерянно и сча-стливо, курит.

– Улыбочки мне твои «до лампочки». Я это платье сама сшила, и материал сама покупала! Босоножки чужие, а документы государство выдало. Если ты мне в женитьбе откажешь, наплевать. Главное, запомни, я есть, я вот она, а там и трава не расти. Где тряпка? Вставай, показывай, потом можешь сидеть барином и курить. Я пришла.

Ночью она близко-близко к его лицу свое бледное лицо придвинула, дух перевела, зрочки с сумасшедшин-кой так близко оказались, что в один кружок слились, и горько зашептала:

– Где ты был? Где же ты шлялся столько лет, засуха моя ненаглядная? Где тебя черти носили, окаянного, сколько ждала.

– Ты чего, Бронь?

– Худущий, изрезанный, психованный, прямо ужас какой-то.

– Ну и брось!

И повелела Бронька:

– Чтоб мне был ребенок. И только сын.

Грач захохотал, ногами от восторга задрыгал в воздухе.

– Если ты, блатняжка несчастный, герой мой фансонный, если ты мне ребенка не состряпаешь – из дому выгоню.

– Другая подберет.

И захохал Грач не на шутку – это его Бронька, сначала за косую челку трепанула, потом укусила пребольно. Мало показалось, так за обе щеки уцепилась, и ну трепать из стороны в сторону:

– Помни, Грач проклятуший, что есть я твоя судьба отныне и на веки вечные. И не должен ты никаких мыслей окаянных в своей башке ветреной заводить.

Мишка Рокотов с матерью разругался. А получи-лось вот что.

Купила Максимовна на толкучке шляпку по случаю. Продавала злосчастную шляпку дебелая накрашенная дама в богатой, но местами потертой шубе.

Максимовна мимо раз пять туда-сюда прошла, краем глаза разглядывая хитро переплетенную, блестящую «чуду», из которой торчало и качалось на ветру длинное перо неизвестной птицы. Очень Максимовне хотелось невестке что-нибудь такое подарить, от чего двоюродные бабы, по ее мнению, должны были в обморок упасть.

Особенно перо фиолетовое потрясло, но Максимовна виду не показала, скучающе и безразлично шляпку оглядела. Баба в шубе на нее посмотрела и отвернулась, как видно, решила, что эта плотная, краснолицая тетка не может быть покупателем ее редкости.

Максимовна шляпку повертела, с умным видом золотую наклейку «почитала», про себя чертыхаясь, что на не русском пишут. Спросила сколько стоит. Шуба такое загнула, что Максимовна в столбняке, замерла. Плюнув, пошла к салу, прицениваться, но заморское чудо все стояло перед глазами, особенно перо фиолетовое. И что за птица такая его обронила? Такое и в сказках не бывает.

Максимовна кошелек достала, грозно по сторонам посмотрела, пересчитала деньги – господи, только на перо, а про сало забудь. И вернулась, купила не торгуясь. Домой шла, под собой ног от радости не чуяла.

Мишка из туалета с прочитанной газетой вышел, дверь в комнату открыл, и замер. Стоит его жена пос-реди комнаты в новом плаще, в ботинках, а на голове... Мишка медленно, с опаской подошел, рассматривает. Фаечка хотела подмигнуть ему, но не успела.

– Это чего? – Мишка в фиолетовое перо пальцем ткнул. – Это чего, говорю? Его носить, что ли, будешь?

– Миш, – Фаечка Максимовне улы-бается вымученно, – так праздники будут, по будням такое не наденешь. На демонстрацию или...

– Я те дам на демонстрацию! – заорал Мишка. – Совсем ополоумели, Мамка? Ты купила? Я с ней из дому не выйду!

– Господи, ну не дурак ли?– всплеснула руками Максимовна. – Это ж какаду!

– Кто? – изумился Мишка. – Какаду?

– Птица, паралич тебя изломай! Попугай такой, чтоб ты понимал, деревенщина! Смотри, ирод, гляделки разуй, как она ей идет-то, красовунечка сплошная... Не лапай ручищами, перо ломаешь! В таких какадах генеральши ходят. И стоит-то сколько, страсть!

Тут она цену назвала. И Фаечка с Мишкой в «столбняке» постояли.

– Ну, дела! Мамка, ты б еще одно перо прикупила, мы б его на зад приспособили. Снимай! Какаду эту снимай, матери отдай, пусть с метлой во дворе красуется. Из дому ты не выйдешь, а выйдешь — развожусь.

– Чего? – это Максимовна руки в бока уперла. – Я разведусь, дьявол, пошумлю на жену-то! Много воли взял, кудахчем, а он бароном, сидеть будет? Файка, мы нынче в этой какаде в кино идем, другого найдем, а он пусть дома! Кто тебе, черту конопатому, страшному, велел на жену шуметь? Деньги плочены, все, будем в ней в гости ходить, генерала найдем, а этого взашей выгоним.

– Мамка, ну чего ты мелешь-то? – Мишка расте-рянно.

– Погляди, ирод, статуэтка, где еще такую девчонку сыщешь? Мы к этой какаде шубу справим и ботиночки. Я еще участок взяла, про-живем.

– Вот дает, мать! – усмехнулся Мишка, когда Максимовна вышла.

– Миш! – Фаечка к нему прижалась. – Тошнит меня, и ничего нет, второй месяц...

– Чего не сказала-то? Фай, ты эту, какаду спрячь подальше, ну ее, срамота.

– Может, Броньке отдать? – Фаечка вздохнула.- Ее Алешка из дома выгонит.

– Тяжести не таскай, ага?

– Мать и так ничего не дает делать.

– А она знает?

– Первая и заметила.

– Ну, конспираторы. – Мишка покрутил головой. – Черт с вами, носи какаду, но не дальше подъезда.

Мишка у пожарной лестницы стоит, курит. Дома ку-рить ему запретили, оно лучше, и подышать, и ве-чер посмотреть можно. Не холодно еще.

Маленький, юркий к подъезду сунулся. Смотрит Мишка, вроде хромой, а шустро идет, в руке сумка, за-шел в подъезд, тихо дверь прикрыл.

Стоит Мишка в углублении – нише, за пожарной лестницей. Самое его любимое место, не хочешь стоять, сесть можно, для этого и ящик притащил сюда. Выку-рил Мишка папиросу, хотел выходить, смотрит, а из подъезда Вадим Петрович идет, с ним этот шустрый, но без сумки.

Мишка остановился, ну его, сердечника-то! Зануда, может про свои болячки час гудеть, не остановишь. В углубление отступил, а они вдоль дома, мимо пожарной лестницы, где Мишка затаился, идут. Разговаривают.

– Не нуди, Файзулла, не нуди! Твое дело маленькое. Документы справные, так что все в порядке будет. Ты, главное, хромай сильнее, не убудет, инвалид домой идет.

– Война уж полгода, как нет ее, – буркнул Фай-зулла.

–Ты мне камешки принеси, какие оставил у тебя.

– Нет, Петрович, я принесу, а ты и того... Смоешься с камнями-то! Их не на сотни тысяч, их на больше будет, так что, Петрович, вместе уходить будем. А камни при мне, они от тебя никуда не денутся. На гра-нице получишь.

Тут у Мишки челюсть отвисла, сер-дечник так хромого об стенку стукнул, что у того фуражка упала. Прижал его, как раз, не доходя двух шагов до лестницы, и слова сквозь зубы выговаривает:

– Ты, гнида, меня не тревожь, за своей хромой душой следи, чтобы не выскочила! А камни мне завтра принесешь, в это же время. Ночью уйдем, и торго у нас с тобой не будет, понял? Это моя доля, и дал я ее

тебе, потому что так надо было. У меня Тань-ка везде роется, ей про это знать ни к чему. Золото – плевать, а про камни ей лишнее. Чтобы все сорок пять капелек на месте были. Иначе умрешь, Файзулла, нехорошо умрешь.

– Отпусти горло! – хромой хрипит.

– Продуктами мою попадью затаришь, ей голо-дать ни к чему. Моим горбом, моим умом жили, твари, так что не рядись со мной, тля!

– Хватит, Петрович...

– То-то. Ну, пошли, смотри, попадье ни звука, что уходим, просто на ночь по делу и все. Плохое чую, меня нюх никогда не подводил.

Прошли они мимо притаившегося Мишки, и за угол свернули. Он озадаченно шею потер, на освещенные окна дома посмотрел, и на рысках к Грачу, за рукав рубашки его на лестницу вытянул.

Удивленная Бронька, было, сунулась к ним, так Мишка на нее цыкнул, она и убралась, ругаясь втихомолку, какие могут быть дела, на ночь глядя?

– Ошалел?

Грач рукав высвободил, хмурится, растрепанного Мишку оглядывает.

– Этот, сердечник-то, с хромым бежать собрались, про границу трепались! – Мишка дух перевел. – И никакой он не сердечник, хромого об стенку шваркнул, я думал, пришибет на месте. Еще про золото и камни разговаривали...

– Погоди, можешь не тархтеть? Давай по порядку.

Мишка обстоятельно, не торопясь, рассказал про разговор, невольным свидетелем которого стал, стоя за пожарной лестницей. Грач слушал, остро всматриваясь в Мишку, прикуривал вто-рую папиросу.

Из двери уже трижды выглядывала Бронька, недо-вольная «секретами», звала зайти, но мужики от нее отмахивались.

– Заявить надо бы, а? – Мишка вопросительно смотрит.

Грач долго думал, потом покачал головой.

– Брать их надо, завтра, как хромой придет, пропустить его в подъезд, потом на выходе брать обоих.

– Стволы у них, голову даю на отсечение, Алешка, мы с голыми руками!

– Перестань, – поморщился Грач. – Хромой да дохлый, кого бояться? В милицию сообщим, так не-известно, чего они придумают. Или

вспугнут. А эти, по всему видать, крупные караси! Ты хромого придер-жишь, я с сердечником разберусь, у меня к нему давно губа не равнодушна. Давай, Мишка, спать, с утра подробнее прикинем. Мне на работу завт-ра не идти, к тебе пораньше загляну, поговорим. До завтра они никуда не денутся.

Двое из подъезда тихо вышли, Грач головой покрутил – ну, конспираторы! От стены дома отошел немного, вздохнул и на пути у этих двоих оказался.

– Кто?

Вадим Петрович резко назад отпрянул, пригнулся, но, узнав Грача, спохватился, выпрямился. Хромой недвижим остался, но Грач очень ясно с его сторо-ны щелчок услышал. Сзади Мишкина фигура вы-росла.

– Здорово, полуночники! – Грач улыбается. – Ты не так хил, браток, а?

Вадим Петрович на Грача глаза прищурил, потом оглянулся неторопливо. Хромой в тень дома перешаг-нул, со спины у Грача оказался, тот его угрюмый взгляд кожей чувствует.

– Куда, ребята, намылились, с мешком, с че-моданом... Мы вас минут тридцать дожидаемся. Так чего ты, Вадик, про камешки и золото тут болтал, шутил, может?

Грач говорит, сам дыхание хромого чутко слуша-ет, ловит его и правую ногу расслабляет. Свой сол-датский маневр опаленным войной нутром намертво впитал. На Мишку мельком глянул – молодец, как раз на два шага от хромого оказался. И сердечник рядыш-ком... Эх, хоть бы пугач какой, эти дьяволы не один ствол в карманах припасли. Ну, солдатский Бог вывезет.

– Про что ты, Леша? – Крючков ласково. – На рыбалку мы. «Камешки», говорит...

Вадим Петрович засмеялся, руками развел.

– Ты, гад, руками не маши! – Мишка не выдержал. – Я вот тут стоял, слышал, как ты про золото и продукты шипел! В двух шагах от меня...

Вадим Петрович задумчиво посмотрел на углубле-ние за пожарной лестницей, на Мишку, потер ладонью подбородок.

– Подслушивать нехорошо, значит, там стоял? Это меняет дело, мужики, в корне меняет. Ну-ну...

– Я тебе понукаю!

Мишка шагнул вперед, но Грач его жестом остановил.

– Напарника ты себе горячего взял, Леша. Большой у вас ко мне интерес появился. Просто так не разойдемся, я так понимаю, товарищ Герой Советского Союза?

Грач ловил малейшее движение Вадима Петровича, ощущая то странное состояние веселости, что приходило в мгновения настоящей опасности.

– Чего нам расходиться-то? Мишка рассказал, как ты этого об стену стучал, я думал в живых тебя не застать, а ты крепкий. Ну-ка, из-за спины выйди, у меня нервы по лагерям расшатаны, свободно могу ноги тебе из спины выдернуть! – рявкнул Грач на хромого.

Файзулла, руки в карманы, исподлобья смотрит, у ног чемодан стоит. Крючков ухмыляется.

– Грач, если наградные и зарплаты сложить, половины не выйдет, сколько я дать могу. Так ведь не возьмешь?

– Не возьму, – вздохнул Грач. – В ми-лицию пойдем, если пустяк, извинюсь. Только чую, не пустяк все это.

– Правильно чуешь, – Вадим Петрович лямку мешка с плеча сдернул.

– Ну, пошли?

– Нет, Алешка, не пойду я, – Вадим Петрович скорбно, – нельзя мне идти.

– Стрелять будете? – Чувствует Грач знакомый зуд в ладонях.

– Стрелять что, попасть бы. Мне всегда, Алешка, трудно было в жизни не опоздать! И везде опаздывал, везде, что ни возьми.

Только зарождалось движение руки у хромо-го, только начинал он разворачивать плечо, чтобы выбросить вперед заготовленное оружие, как заработала «на прорыв» отлаженная нервная система бывшего подрывника и разведчика Алешки Грача.

Точно и ясно уловил он миг зарождающейся опасности.

Ударил сапогом, согнулся пополам хромой, застонал от боли, рухнул ничком. Грач резко развернулся и покатился на землю, сбитый разлетевшимся Мишкой, увернулся от него Вадим Петрович.

Вскочил, а хромой пистолет поднимает. Упал Грач на одно колено, другой ногой, с разворотом, по руке, и, не давая опомниться, навалился, руку за спину рванул, так что завизжал хромой. Только тогда поднял голову и увидел – мелькнула за угол ночным нетопырем фигура сердечника.

– Я его! – Мишка следом побежал, пиджак на ходу скидывает.

Грач пистолет подобрал, на стонущего хромого посмотрел. Видно, сильно он ему руку завернул, держится за плечо, стонет жалобно.

Со стороны сквера гулкой выстрел хлестанул, рванулся Грач, на хромого оглянулся и остановился, со злобой:

– Вставай, гнида тыловая, нечего корчить рожи, быст-ро!

Причитая, распрямился хромой, со страхом смертным на Алешку глазами посверкивает. А Грач к нему, по карманам руками – хлоп, нож из бокового кармана вытащил. Хороший нож, рукоять из самолетного «стекла» прозрачного.

– Вооружился, тварь. Вперед! Руки за спину, по-бежишь, как собаку из твоего же ствола грохну! И кости переломая, чтоб неповадно было ножиками баловаться.

Повел его сквером к мосту, оглядывается, не видать ли Мишки? За сквером тупик, в заборе дыра, через нее к мосту кратчайший путь, а за мостом милиция.

У моста хромой дернулся, но Грач его левой рукой за шею придержал, правой, где пистолет зажат, так рукоятью под ребро саданул, что заскулил хромой в го-лос, глянул на Грача и смолк, со страху на здоро-вую ногу припадать начал.

– Товарищ Герой Советского Союза! – дежурный лейтенант от волнения заикается.

– Мы этого в КПЗ, я на Петровку позвонил, оттуда едут. Будут указания?

– Какие указания, – отмахнулся Грач, – Миш-ка там где-то, мне бы сердечника, вырубить, получилось наоборот. Ну, Мишка не оплошает, думаю.

Милиционер с сомнением качал головой, стал наливать в кружки чай. Ту кружку, которая больше, поставил перед Грачом.

– Чайку, погрейтесь.

Мишка в это время полз по заваленному мусором двору фабрики мягкой игрушки, куда завела его ноч-ная погоня. Полз, зажимая горячую рану на груди, как раз посередине. Отплевывался кровянистыми пузырями, хрипел и кашлял...

– Кто, а, чего? Стрелять буду!

Фигура в чудном плаще коробом перед ним вы-росла, в руках не то палка, не то ружье. Ветхий дед с опаской наклонился, трех сдви-нул,

прислушивается, а Мишка хочет громко говорить, вместо этого хрип получается.

– Ты чего ползешь, пьяный? Кто шумел, стрелял-то, кто?

Мишка силы собрал, на локоть приподнялся.

– Милицию... Давай, дед, тут он, тут!

Приговаривая и причитая, дед утрусил в темноту, повторять не понадобилось.

Мишка лег на левый бок, прижимая ладонь к ране, чувствуя, как вместе с кровью, покидают его последние силы.

Спасли Грач с Мишкой жизнь хромому. Вышел из дома Вадим Петрович с пустым мешком... И никуда он не собирался в эту ночь бежать, а проводил бы Файзулу до Хапиловского спуска, и нож ему под лопатку. Пояс с бриллиантами снять - это дело пяти минут.

Но не так все получилось, пояс на хромом ос-тался.

К подъезду дома он с пистолетом в руке выскочил. Рыскнул по сторонам глаза-ми: «Так... Не успели ментам прозвонить, живем, это хорошо, что не успели. Как успеть, минут десять всего прошло-то! Может, в квартире ждут? Нет, время есть. Мало, но есть!»

Прыжками по лестнице, кнопку звонка утопил трижды, как условлено. Открывшую Татьяну отпихнул и в комнату. Смотрит попадья, как он деньги в вещевой мешок пихает, ничего не поймет.

– Ты куда?

Вадим Петрович из-под шкафа коробку вытянул, на стол опрокинул, руки расставил – желтые монетки так и покатались. Он их в кучку сгреб, в носовой платок – не помещаются, другой взял со сту-ла, завернул, и тяжелые свертыши в карманы.

«Время, господи, время! Ладно, перед смертью не надышишься! И уходить с музыкой буду, если что...» – пистолет в боковой карман, другой за ремень под пиджак. Три кругляша – гранаты...

– Вадька, а мне куда?

Татьяна горой на кровати сидит. Крюч-ков летучей мышью по комнате мечется, за ним ночные тени шарахаются. Кое-что из харчей быстро в мешок покидал, завязывает.

– Ничего, Татуська, найду тебя при случае.

– Все врешь, Вадька, на вовсе уходишь, больше не свидимся.

– Только без скулежу, – Вадим Петрович второй свитер одевает, – вас по свету пруд – пруди, нахлебал-ся, хватит!

– Я тебе шкатулку от отца Таисия отдам, – Татьяна в пол смотрит.

– Вон как? – Крючков замер, потом у виска пальцем покрутил. – Прорезалась, тумба право-верная? Сколько клянчил – нет, не дам, а теперь мне не надо, поняла? На мой век хватит, таких дур, как ты, воз найду.

– Не найдешь, – Татьяна глаза холодные подняла. – У тебя, Вадька, сердце справа.

Вадим Петрович к столу присел, обойму из пистоле-та выщелкнул, патроны проверяет. Обрато вставил, из кармана документы достал, смотрит бегло, торопится.

– Ладно. Прощай, Вадька, подлый кот и вор. Пусть земля тебя из чрева своего исторгнет, осиновым колом в твою сердечную неправильность вопьется.

Татьяна медленно слова выговаривает. Вадим Пет-рович не слушает – последнюю бумажку в бумажник укладывает.

– Вадька, давай навечно поцелуемся?

– Напоследок, что ли?

Вадим Петрович усмехнулся, со стула привстал, Татьяну в губы чмокнул, по плечу похлопал.

– На дорожку посидим.

Попадья губы утерла рукой громадной, к Вадиму Петровичу со спины подкралась...

Умирал он медленно, страшные Татьянины руки на шее никак плотно сомкнуться не могли, пальцы мешали... Но сомкнулись.

В последний миг перед ним котенок избитый воз-ник, потом лицо сына Туманкова мелькнуло и пропало, и опять котенок. Шипит, спину дугой выгнул, зеленые глаза в щель сошлись. Долго угасающее сознание эти два зеленых фонарика из темноты вылавливало, миг-нули они в последний раз, и пропали.

Татьяна тело на кровать перенесла, руки крестом сло-жила, простыней укрыла.

Из мешка деньги вытряхнув, на столе горкой соб-рала. Из кладовой гору меха дорогого, отрезы и картины старые притащила, все это на столе и стульях уместила. Вспомнила про золото в карманах у Крючко-ва, его достала, к столу не пошла, а небрежно из платков на пол вытряхнула – звонко кругляшки покатались.

Грохот тишину взорвал – упала входная дверь вы-шибленная, трое с пистолетами в комнату влетели! Татьяна не шевелилась.

Вошедшие удивились, слишком все чудно – баба слоноподобная, труп на постели, золото на полу рас-сыпанное... Пригласили понятых, те, заикаясь, опоз-нали Крючкова и его сожительницу. Таращили глаза на ценности невиданные, переглядывались.

Попробовали Татьяне вопросы задавать - ничего не вышло. Смотрит пристально, молчит и на все головой кивает, мол, так, люди хорошие, что скажете – все так! В машине голосить стала, всю свою любовь живот-ную, всю горечь-скорбь по «Вадьке убиенному» поведа-ла.

Молчали оперативники, придавленные могучей глыбой неви-данного чувства.

Один, правда, попробовал объяснить ей, мол, вор-убийца-грабитель был Крючков ее, но дру-гой в бок толкнул, он замолчал.

В камере Татьяна пять часов из угла в угол проходила.

Села на табуретку привинченную, ста-ла тихо и жарко сама с собой разговаривать. То попа зовет, то Вадьку. Приглашенный врач руками развел, велел везти в больницу.

К вечеру ей совсем плохо стало, температура за со-рок. Безумным взором палату обвела и глу-боким басом сообщила:

– Нет шкатулки. Вадька, отца Таисия не тронь, он добрый, и не ревнуй.

Выдохнула воздух из груди необъятной, за спинку кровати, прутья железные, взялась и умерла.

Дежурный санитар и медсестра долго ее окоченевшие пальцы разжать не могли.

В следственной камере выл хромой Файзулла, стоял на четвереньках, дрожал всем телом и выл на дверь. И не в «болезнь» играл, а просто ноги его со стра-ху не держали.

Мотал головой лохматой, слюни пускал и выл.

Мерещилось Файзулле страшное. Пробовал руку грызть, но боль от-резвила. Замер, и до самого суда, два месяца молча в камере сидел, на стену смотрел сощуренными глазами, хрустел суставами.

Дал судья последнее слово. Встал Файзулла, грязным пальцем по губам провел:

– К расстрелу меня... Короче, от «вышки» не уйти, но я не к тому. Спасибо, что расстре-ляете, если бы срок дали, я б удавился.

И заорал людям в зале, потрясенным его смертной веселостью.

– Сурки голопузые, коровки божьи! Я скоро червяком накроюсь, а вы-то, чего? И вы там будете, что, нет? С ума сошел, думаете, да? Сдохнете, сдохнете, как по нотам все будет. И ты сдохнешь.

В судью пальцем ткнул, засмеялся и сел.

После приговора, когда уводили, зал со страхом ему вслед глядел....

Он оказался в колодце.

И колодец был странный – вверху сужался, оттуда бил ослепляющий свет, а книзу расширялся, стены темнели мрачно и страшно. Внизу стояла такая густая темнота, что кружилась голова, и сердце дрожало мелко и быстро...

Мишка бесплотно парил между светом и мраком, не зная, куда кинуть неощутимое тело. Потом наступило «прозрение», он увидел себя сверху – голое, неподвижное тело лежало на столе, глаза открыты. Он раздвоился – одно зрение показывало, что над ним потолок, вокруг тени в халатах, другое зрение видело белые шапочки сверху.

Потом появилась еще тень. Мишка почувствовал к ней доверие и чувство сопричастности. Стран-ная истома овладела Мишкой, он по-тянулся к этой огромной тени, от нее исходило спасение.

Приятный низкий голос произнес: «Напрямую... большая кровопотеря, адреналин в сердце...» В Мишкино сердце ударила пронизывающая боль, но он обрадовался ей, потому что эта боль была ему во благо.

Невыразимо прекрасное лицо вынырнуло из мрака, зва-ло его нежно и страстно - от этого Мишке стало жутко.

Свет бил в зрачки, он стал ощущать, как они суживаются, и свет начинает рас-текаться по его безвольному телу, наполняя теплотой и радостью. И Мишка поплыл к нему, уходя все дальше и дальше от этого прекрасного, но страшного лица.

«...выкарабкался... силен мужик... Ну и ну...» – про-изнес голос.

Мишка злорадно улыбнулся.

Очнулся ночью, повел глазами. Горел ночник над дверью, у кровати на стуле дремала мать, свесив голову в косынке, уронив на колени руки.

Мишка улыбнулся, попытался облизать губы, но только поводил сухим языком по ним, и негромко при-щелкнул. Но этого оказалось

достаточно. Максимовна тут же подняла голову, всмотрелась в его лицо, испуганно расширив глаза:

– Чего ты? Батюшки, пришел в се-бя-то?

– Попить, мамка...

– Молчи, молчи! – заплакала Максимовна. – По-годи, Бронька клюквы дала, тут она, на-ка, сын, на-ка! Только не шевелись! Сама поднесу.

Она попоила его из поильника с отбитым носиком, обтерла испарину со лба своей горячей, сухой рукой.

– Чего у меня? – Мишка трудно шевелил языком.

– Стрельнул тебя враг, чего! Чуток левее и все, какую-то «аорту» тебе тронул, чуть не пере-бил, коснулся только. Что ж ты с нами делаешь, Фаечка почернела, господи, смотреть страшно. Ох, Минька, был ты непутя – беспутная, так и остался. Кой черт тебя за ним погнал-то? Из милиции, ругал вас с Алешкой, почему их не вызвали?

– Поймали?

– Поймали, – Максимовна, отвернувшись, стала в тумбочке копошиться.

– Кого поймали?

– Что орешь-то? – перепугалась Максимовна. – Тебе нельзя говорить, врачи сказывали! Молчи, сама скажу, остынь... Нет его, врага-то, баба придушила, что жила с ним, страшное дело!

– Нормально.... Спать хочу.

– Поспи, а то сколь крови вытекло! Спаси-бо, кочегар знакомый тут оказался, свою кровь дал. Спи.

Мишка повернул голову к стене и уснул. Максимовна все шептала про себя, жалова-лась кому-то о своем, сокровенном.

И плакала.

Митенька-почтальон на углу дома стоит, сумку на землю бросил, навзрыд плачет-заливается. Пенкин увидел, подошел.

– Побил кто?

– Бумазка Нефедову опять! – Митеньку трясет всего. – Молоток будет кидать!

Пенкин историю, как Нефедов в почтальона мо-лоток кинул за похоронку, наизусть знает. Вздохнул, по плечу убогого погладил, тот из сумки письмо тянет, протягивает, смотри – «Беда!»

– На, ты отнеси, он с тобой не будет драться, ты вон какой большой.

– погоди! – Пенкин обратный адрес смотрит. – Тут подпись «Нефедова Полина!». Митька, беги, он тебе за это письмо мешок пряников во все карманы рассует!

– Лупить меня будет, у меня головка слабая.

– Уж это, куда деваться, а письмо неси, тут и адрес обратный, гляди. Он этого письма, знаешь, сколько ждет? Неси, хуже не будет.

Нефедов почтальона увидел, страшно побледнел, за косяк дверной руками ухватился, стоит – ни жив, ни мертв.

– Цево? Холосое письмо, мне дядя Пенкин сказал. Длаться будес, да? Ты пахой, я тебе не лублю.

Митенька письмо на порог кинул, подальше на лест-ницу отбежал, прижался к стене, сумку перед собой держит, заслоняется. Нефедов нагнулся, письмо поднял, сослепу его и так, и эдак вертел, очки с затылка передвинул, распечатал и...

Захлебнулся счастливыми слезами, заиграл морщинами глубокими, Митеньку рукой манит:

– Иди, золотой мой, иди сюда-то, от дочки, от Полюшки письмо, из госпиталя, с Урала! Жива она, Митюшка, почтальон ты мой золотой. Женя, Евгения Семеновна, иди, старая, пляши, от Полюшки письмо!

Митенька за ним робко в дверь прошел, стоит в коридоре.

– Мать, чайку ему подлей.

Нефедов лаской плавится, морщинами играет, слезу нечаянную с глаз смаргивает.

– Конфету бери, ешь. Довоенные, Полюшке берег, пяток и осталось. Ешь, милый, с хлебцем, тебе сальца бы, отощал.

– Ключков салу ел, и колбаску, а Мите не дал. Он пахой, мамка говорит, Его тетя Таня плидусыла. Он насовсем умел?

– Умер, Митюшка, Крючков. Оттуда не ворочаются. Ну и тварь был, и банк, сказывали, он грабил. Мишке в грудь стрельнул... Натворил дел, сердечник! Пей, что это ты, чего за-мер, рот разинул?

– Я бумазку одну закопал, плинесу, ты погоди! Ты мне исо конфету дас, да?

Выскочил почтальон из-за стола, минут через десять вернулся, в руке жестянка, испачканная землей. Отогнул крышку ржавую, камешки на стол посыпались, из-под них истлевшую бумагу тянет...

Нефедов с трудом, но разобрал бумагу. За-думчиво на плачущую жену смотрит:

– Убогий, а как выдумал! Закопал, значит, а я, Митька, отдай ты ее мне вовремя, вполне мог копыта откинуть.

– У тебя конфетка есть?

– Найдем, Женя, принеси тот свитер, что в прошлом году вязала, молчи, ему память будет. За письма до самой смерти по кульку пряников в неделю должен, не жалея, старая, в гроб в нем меня не положишь.

Одели на Митеньку красивый серый свитер. Немного великоват, но это не мал, Нефедов до-вольный остался, обошел вокруг Митьки несколько раз, где поддержнул, где поправил. Почтальон сразу цело-ваться полез, три раза старику щеку обмусолил.

– Молотком не будес? Бить не будес? И свител не отнимес?

– Носи, золотко, носи. А молотки кончились.

– Я тогда испузался, меня мамка побила сильно. Я за денюски лаботаю, да? И холосые бумазки, и пахие совсем... Всякие.

– «Лаботай», милый, «лаботай». Спасибо тебе.

Проводили Митеньку Нефедовы, сели дорогое пись-мо читать. С начала и с конца, и от-рывками выхватывали, пока наизусть не выучили.

Решено было, что поедет мать на Урал к дочери, в госпиталь, а за это время Нефедов будет потихоньку квар-тиру в порядок приводить.

Лежал Мишка в палате, улыбался, заклеенную мар-лей грудь ощупывал. Не заметил, как задремал, а там и Фаечка пришла. Веселая, и такая красивая, что Мишка чуть не прослезился, на нее глядя. Вот до чего человека болезнь довести может, слезы близко-близко.

Фаечка его с ложки супом кормила, потом убира-лась. Крошки с постели стряхнула, на тумбочке прибралась. Мишка за ней глазами водит, до того ему хорошо, что слов нет. Прав-да, боль в груди, тупая и ноющая, но Мишка притерпелся, внимания не обращает. Договорились с Фаечкой, что в эту ночь никто возле него дежурить не будет.

Ночью спал хорошо. Проснулся часов в пять ут-ра, долго лежал, слушал больничную тишину, настоян-ную на невнятных столах, скрипах пружин кроватей, шарканье тапочек дежурных врачей и сестер. Пить захотел, протянул руку за поильником...

Изогнулась палата, поехали ее углы в раз-ные стороны, свело их в круг непонятный.

Падали бес-шумно стены, сверкал тусклый ночник в хороводе кру-гов туманных и погибал мир в жутком беззвучном раз-ломе!

Приподнялся Мишка на локтях, заскреб пальцами простынь, выгнулся и умер.

Тихо лежал до ут-ренного прихода сестры с градусником. Тонкая струйка крови изо рта высохнуть успела.

Не выдержала задетая пулей аорта, выплеснула кровь, могучим сердцем гонимую, прямо в легкое. Лежал Мишка белый, как бумага, с открытыми глазами, что двумя окнами удивленно в мир распахнулись, пости-гая его жестокость, его краски, его доброту и веру...

Словно ушел некто из квартиры навсегда, а перед ухо-дом окна раскрыл, чтобы выдул ледяной ветер нажитое тепло. Для чего? Гонял сквозняк обрывки обоев, трепал забытую занавеску холодным ветром оди-ночества.

Увезли Мишку в маленький домик на кафель, лежал один, в ту ночь больше ни-кого в морг не приносили, и было нелепо видеть его большое и неподвижное тело среди шкафов, тазиков и немудреного, сурового инвентаря скорбного домика.

Ноябрь расплющил нос о стекло, мы встретились с ним взглядами. У него были большие глаза бездомной со-баки, заискивающие и тоскливые.

Учитель удивленно поднял на меня голову, потом перевернул лист, осмотрел его белую и чистую обрат-ную сторону, прищурил потемневшие глаза.

– Ты зачем его убил дважды?

– Так надо.

– Мишку принесли домой мертвого! Во дворе фабрики, его убил Крючков, а ты заста-вил его доползти... Дал нам надежду с операцией, зачем оставил ему эти дни в больнице? Ты жесток, мальчик, это слишком, даже для правды. Читая про палату, я радовался, Мишка жив, значит, ты понял главное, почему такие люди, как он, догоняют преступников.... И потом с почтальоном, по-чему он остался жив? Это он вышел в тот вечер на улицу и помешал ребятам схватить Крючко-ва и Файзуллу? В почтальона выстрелил Крючков, в первого выстрелил! Несправедливо, оставляешь на зем-ле калеку, и кладешь в нее здорового, сильного парня.

– Они живут вне меня, сами распоряжаются своими судьбами, сами выбирают – оставаться в повествовании или нет.

Учитель повернулся к окну, на стене появился профиль – замученная старостью птица сидела неподвижно и скорбно, горбатый нос почти касался подбородка, плечи-крылья поднимались высоко, прикрыв худую шею...

– Не пиши про Мишкины похороны, не надо. Это было так нелепо, страшно и больно, что пересказа не получится, уверен. Сползти на мелодраму ничего не стоит, не пиши.

Из-за угла живот страшный выплывал, потом вся Бронька показывалась.

Само величие. Воло-сы тяжелым пучком на затылке собраны, лицо белое, спокойное, а глаза! Надо видеть, как смотрела она на окружающий мир, исполненная материнского торжества и удивления, мол, что вы там копошитесь? Суе-титесь, бедные...

Что ваши заботы в сравнении с мойми завакками? Видите, какая я? То ли еще будет, попробуйте сказать, что я некрасивая!

Разговаривает медленно, длинными ресницами хлоп-хлоп, полные губы в усмешке изогнуты, ноздрями вздрагивает – запахи одолели. Особенно одеколоны терпеть не могла.

Грача извели разговорами, не иначе, как Бронька тройню замыслила! Он сначала отшучивался, потом притих, с опаской стал на огромный живот поглядывать. Но и с этим возможным вариантом смирился – тройня? Давай, и мы не лыком шиты.

Ночью тихо жене на живот руку положит, шевеления ловит, улыбается. Бронька делает вид, что спит, сама от удовольствия краснеет.

– Алешка, где ты?

Бронька на машинке что-то маленькое строчит, от усердия язык высунула. Грач на кухне с утюгом возится, чертыхается, никак ручку привинтить не может.

– Ну?

– Алешка, совсем каблуки оторви на туфлях, а то все ноги поломала.

– Ладно.

Задумался Алешка, папиросу достал, только спичку к ней, а из комнаты:

– Марш на лестницу!

Усмехнулся, встал покорно, на лестницу пошел, ему вслед:

– Думаешь, не вижу? Шинель накинь, кашляешь, новое пальто не тронь, нечего обтираться.

Стоит на лестнице, курит. У новых соседей внизу гулянка – шум, что-то грохает, го-лоса слышны.

«Ругаются?» – Грач лениво думает.

– Алешка! – в квартире Бронька вскрикнула.

Грач дверь саданул, одним прыжком в комнату, а Бронька блее бумаги, за живот держится, глаза бе-зумные.

– Ща рожу!

Алешка руки растопырил, ничего не соображает, топчется бестолково.

– Беги за врачихой, ой, мамочки!

– Бронька, погоди рожать, я мигом! Сиди, слышишь, никуда отсюда, погоди!

Вслед запоздало:

– Шинель-то? Ой, мамочки...

Как до роддома они с врачом из седьмой квартиры Броньку довели, этого Алешка и через много лет вспомнить не мог. Сдал жену врачам, час вокруг зда-ния круги описывал, пытался в окна заглянуть. На-против роддома, на скамейке, еще два часа сидел, чуть не уснул, с досадой домой пошел, ничего не высмотр-рел.

А Броньку, как привели, посадили на стул, попро-сили подождать, мол, сейчас врач придет. Действитель-но, приходит врач, старичок розовый, улыбается...

– Рожая я, – Бронька ему.

– На здоровье, первые роды? Красивая, приятная мамаша, главное, не бои-тесь. Вам поздновато немного, по возрасту, но это ничего, поси-дите, без нас не родите.

– Рожая!

Бронька ему вслед, но врач только улыбнулся приятно и пошел к двери.

Тут нянька заходит старая, Бронька ей:

– Рожу я, тетечка!

Нянька губы поджала.

– Врачу видней, а вас миллион, сказал, жди, значит, не рыпайся. Все по поряд-ку будет, а так не родят, схваток нет.

И пошла, Бронька вслед удивленно посмотре-ла, но уже не до разговоров стало. Боль низ жи-вота опоясала, не выдержала, со стула встала – еще хуже! Попробовала шаг сделать к ку-шетке, чуть не упала, так голова закружилась.

Села на корточки, в мозгу одно бьется: «Только бы не упасть! Ой, мамочки!» Крик рвался из горла, но Бронька зубы сжа-ла, замычала глухо, руками под собой щупает.

Родила. Прямо в подставленные руки родила.

Боль такая, что Бронька задохнулась на пределе, чуть сердце не лопнуло, но сдержалась. Как почувствовала под собой мокрое и скользкое, осторожно на кафельный пол легла, приняла сыночка или дочку, не соображая от боли, первым делом ста-ла ребятенка в полу юбки заворачивать. Он басом, басом, гос-поди! Или она?

У Броньки круги разноцветные перед глазами, едва-едва вздохнула, тут врач входит. Ахнул старичок, закричал, тут все забежали, полная комната народу оказалась. Переполох, одним словом.

Когда все кончилось, врач пот со лба отер и ру-ками развел:

– Не ожидал, ни по виду, ни по пове-дению.

– У меня там еще ребеночка нет? – Бронька уста-ло спрашивает.

– На этот раз двойни не будет.

– А вы посмотрите, доктор, миленький!

Врач брови поднял, улыбнулся, повернулся ухо-дить, но вдруг остановился:

– Дайте-ка, осмотрю, кто вас знает... Ну, слава богу. Везите в палату.

– А ребенка? – привстала Бронька, оглядывается.

– Принесут на кормление, – акушерка с неудовольствием оглядывает Броньку. – Лежи- спокойно, хватит, наскакалась, весь роддом на ноги подняла. Это надо, на полу родила, господи!

– Не перепутают мальчишку-то?

– Лежи, кулема.

– Грач есть?

– А?

Грач отчего-то на Жорку Пенкина смотрит испуганно.

– Что стоишь, забирай сына.

– Забирайте, папаша, ребеночка! Осторожно, руки прямой держать надо, вот так. Сейчас ма-маша выйдет. Господи, папаша, вниз головой кто несет, ну-ка, дайте сюда!

Старенькая нянька приняла сверток, перевернула, на руки Грачу положила. Грач сверток принял, и пошел... А про Броньку Алешка забыл, она ему вслед смотрит, губы кусает, того и гляди, расплачется. Алешка со свертком идет, ничего не видит, подмыш-кой цветы приготовленные.

– Грач, а я? – обиженно Бронька, а он не слышит, сына несет.

Потом облился, будто не четыре двести, а все сто килограмм вытягивает. Пенкин на костылях вымахал, ему негромко, но резко что-то сказал, тот на полном скаку, как конь – стоп! И к Броньке.

Всхлипнула с завываньем, от жалости к себе и любви к мужу, когда он ее между ухом и шеей поце-ловал.

Всем домом «грачонка» обмывали.

Максимовна с Фаечкой маленького Мишку принесли, тот уже агука-ет, смеется, кулаки сжимает. Люба Букина с дочкой Наташкой, у той уже и волосы отросли, первый бант за-вязали.

Пенкины пришли, Тося Жорку под столом пихала, чтоб не пил много, им с утра надо к врачу идти, вот-вот, рожать....

Бронька глаза приоткрыла, смотрит, а Грач на цыпочках к кровати крадется. Наклонился, шепчет что-то. Бронька вся внимание, голову приподняла, вслушива-ется.

– Спишь? Ну-ну... Качай здоровье. Володькою будешь. Эх ты, солнышка – подсолнушка! Человек, а?

Почесал Алешка голову лохматую, хмыкнул изумленно, выпря-мился. Бронька украдкой глаза-щеки утерла.

Грач под нее холодные ноги засунул, скоро засо-пел, а Бронька «вполглаза» спала. То большого, то ма-ленького слушает.

Большой перевернулся на спину и захрапел, а маленький молчун оказался, первую ночь не покряхтел ни разу.

– Баба с возу долбанулась – подол завернулся, вот кобыла улыбнулась, и мужик проснулся! – Старик бровями шевелит, думает. – Шах, офицера тресну, только пар пойдет. Баба с возу...

– Дурацкая твоя песня! – Нефедов ему с доса-дой. – Не выпендривайся, раз бьешь, бей, нашелся «Касабланка»...

– Капабланка, - поправил Старик. – Пешку «за фук»? Это не шашки, мил-человек, зачем под-ставлять-то? Или жертвуешь?

Нефедов с досадой смешал шахматы. Некоторое время сидел молча, не глядя на Старика, потом по-вернулся:

– Черт паршивый, расставляй сначала, распелся...

– Может, фору дать, туру хочешь? И не надо... Вот кобыла улыбнулась, а мужик проснулся!

Нефедов плюнул со злости, полез за куревом.

– Чего поет, дуболом? Как это «кобыла улыбнулась», где видал?

– Очень даже улыбнулась, прямо душевно. Тебе, чтобы выиграть у меня, надо год в ситцевые тренироваться, понял?

– В «ситцевые»? – с подозрением пере-спросил Нефедов.

– Нарезать из ситцу фигурок и тренироваться в тряпочные. Вашу королеву мы – трясь, не зевай!

Нефедов посмотрел на доску, поднял багровое лицо и пошел к буфету, на ходу зорко погля-дывая – не идет ли дочь или жена? Открыл дверцу, достал графин, обернулся к Туманкову и вы-разительно причмокнул, тот кивнул.

Содержимое гра-фина уместилось в стакане. Выпили пополам, закусили вареным яйцом.

– Полине протез прислали? – спросил Туманков.

– Прислали, только никак не приспособится. Была б левая, а то правая рука, самая деловая. Пой-дем во двор?

– Тебе врачи запретили ходить, пом-решь, а я чего?

– Раньше тебя не помру, понял? Чекушку там спворим...

– Ты отпил свое, глянь, синий весь.

– Мне куда, за девками бегать? И синий сойду.

Сидели на сквере, довольно шурились на солнце.

И была это их последняя весна.

В июне умер Старик Туманков, всего неделю попестовал родившегося Кольку Пенкина. Через месяц умер Нефедов, поднял угол шкафа, чтобы подложить фанерку под перекосив-шуюся дверцу, и упал, не приходя в сознание, умер.

Лежали оба на Преображенском кладбище, недалеко друг от друга. И оградки одинаковые были – Пенкин рас-старался.

Если аллейкой пройти, то у забора, третья от мра-морного ангела купца «третьей гильдии» Трефильева, мо-гила Мишки Рокотова – пирамида со звездой, а у стариков кресты дубовые.

Бывший боцман Карасев три хромированные дощечки раздобыл, на них имена-фамилии исполнить заказал – Нефедову, Туманкову и Рокотову.

Знакомый Максимовны заказ хорошо выполнил, аккуратно. А Грач с Пенкиным привинтили дощечки на кресты и пирамидку.

Боцман Карасев Максимовну долго ждал. Как в деревню уехал, письма от него каждую неделю приходили. Она плакала, но куда от сорванца Мишки денешься? Фаечка учиться пошла, и есть-пить надо, одеваться, на стипендию не разгуляешься, так что, работай, бабка, пока силы есть!

Можно было бы продолжить рассказ, как истаявший от бессонных ночей Пенкин в Литературный институт прорывался, мучился с повестью... Как родила Тося Кольку, потом Аленку, и стало их в доме с ними семеро.

Какая лютая война разгорелась между Володькой Грачом и ребятами с Хапиловки, сколько было пролито крови и материнских слез. Как бегала «топиться» на Язу Бронька, показалось ей сдуру, что Алешка Грач ходит к Дусе из молочного ларька.

Можно заглянуть к Букиным, где призрачно и ветхо доживали почти столетний век Димкины родители, а сам Димка яростно занимался живописью.

Много можно было бы поведать, только это будет другая книга. Другое время, где летают иные птицы, иные люди провожают их в дальние края.

Осень стучится в окна худыми пальцами. То ли милостыню просит, то ли напоминает, что пора в межоконье вату затыкать, к холодам ветрам готовиться.

Вот и улетели, курлыкая, далекие птицы моего детства.

Повернул Вожак гордую голову:

– Летим, малыш? В детстве трава шелковой, вода хрустальней! Обопрись крылами на воздух, держись за него, не подведет!

Долго следили глаза за стаей, а когда скрылась она в розовеющем небе, опустилась тишина, и замигали колючие, непостижимые звезды.